

An abstract painting featuring large, expressive shapes in black, red, yellow, and green. Two hands are visible, one in the center and one on the right, rendered in a light pinkish-red color. The background is a mix of these colors, with the black shapes being the most prominent.

После третьего звонка

рассказы и повести
украинских писателей

Е.М. (перевод, составление, редактирование)

После третьего звонка

рассказы и повести украинских писателей

Данное продолжающееся издание выпускается

Институтом перспективных исследований в гуманитарных науках

Университета Эдинбурга

Площадь Хоуп Парк, 2

Эдинбург EH8 9NW

Июнь 2023

Copyright © IASH 2023

Все права защищены. Любое копирование и воспроизведение текста, в том числе частичное и в любых формах, без письменного разрешения правообладателя запрещено.

ISSN 2634-7342 (Online)

Institute Occasional Papers, 27

Изображение на обложке: Леся Синиченко, «Рука войны — мнимая неприкосновенность», 2022 г.

Университет Эдинбурга является благотворительной организацией, зарегистрированной в Шотландии под регистрационным номером SC00533.

После третьего звонка

Edited and translated by

E. M.

**The Institute for Advanced Studies
in the Humanities**

The University of Edinburgh

2023



**THE UNIVERSITY
of EDINBURGH**

Содержание

Е.М.

Предисловие переводчика v

Е.М.

Translator's preface xi

Оксана Забужко

После третьего звонка вход в зрительный зал
воспрещён (2017) 16

Марианна Кияновская

Прелесть (2018) 64

Евгения Кононенко

Арчибальд и Патриция (2017) 82

Евгения Кононенко

Встреча на Площади Часов (2023) 88

Мария Матиос

Цветочница (2019) 103

«Трымаймося!» (дневники войны, 2022)	115
Об авторах	128

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Здесь тихо. Олени подходят прямо к дому. «Наш» заяц привычно пасётся на травке под окном. Белки, фазаны, лебедь на озере рядом – все поглядывают доброжелательно, с любопытством округляя свои тёмные глаза, замирая на мгновение с выгнутой шеей, или – с распушённым хвостом, или – с настороженными ушами – и опять продолжают свой пробег, проплыв, пролёт или проскок. Шотландия. Ист-Лотиан. Недалеко от Эдинбурга. Благословенный дом Рут и Чарли Плауденов, давших нам приют на время моей творческой резиденции в Эдинбургском университете. Тихо. Только ветер, только шелест опавшей листвы. Иногда даже кажется, что примолкла война. Какое там! Стоит открыть новости, или почту, или обновить страницу в Фейсбуке – как бешеный шум, невыносимая тревога заполняют всё вокруг. Мой родной город, город детства – Запорожье – бомбят. И другие города Украины – тоже. Люди без света и тепла, в подвалах и бомбоубежищах. Миллионы беженцев. А в Москве, где остался мой дом, трещит пропаганда, бубня, что так, мол, и надо, и «всё идёт по плану». Но на домах там тоже уже поставили ПВО... А резиденция моя – литературная, творческая, переводческая...

Почти четверть века перевожу я современную украинскую литературу на русский язык. Русский в воюющей Украине сегодня многие ненавидят. Украинский в России практически не знают.

«Хочу, чтоб люди понимали друг друга», – сказала я в одном интервью. Прекраснодушная фраза, но разве можно упрекнуть в таком желании переводчика? Да, именно этого я по-прежнему хочу. Звучит дерзко на сегодняшний день. Особенно в моём, «русско-украинском» случае.

А ведь когда-то так совсем не казалось. Осенью 2001-го года украинская писательница Оксана Забужко приехала в Москву на

презентацию своего первого, переведённого мною на русский, романа «Полевые исследования украинского секса». Красивая, яркая, в ослепительно-белом платье. Презентация проходила на престижной книжной выставке «non/fiction» в Центральном Доме Художника на Крымском валу, – только сейчас подумала о символичности адреса «Крымский» да ещё «вал»: перед глазами сразу – терпящие бедствие на картине «Девятый вал» – ну да, и сейчас бедствие, а что же ещё, да только рукотворное...

Но тогда всё было отлично. Зал аплодировал украинской писательнице: кто-то уже успел прочитать книжку и понять, что за эпатазирующим названием – далеко не только остросюжетная любовная история, но – целая Атлантида абсолютно неведомой для постсоветского человека украинской жизни, её интеллектуалов, диссидентов, изумительных, но замалчиваемых в СССР и совершенно неизвестных в России украинских поэтов и писателей. Книгу читали, о ней много писали в России, потом ещё несколько раз издавали и переиздавали. А потом – и другие украинские книги переводили и презентовали в Москве. Проза лучших украинских авторов становилась доступной на русском: Юрий Андрухович, Мария Матиос, Сергей Жадан, Евгения Кононенко, Тарас Прохасько, Кость Москалец.... Казалось, диалог литератур начинается и успешно идёт. Но нет. Совсем нет. Спотыкания были постоянными.

«Не тот», не пророссийский, кандидат выиграл в Украине выборы на волне «Оранжевой революции». Помню, как примерно тогда же остановили репетиции спектакля по «Полевым исследованиям» Оксаны Забужко в постановке модного московского режиссёра с Верой Сотниковой и Гошей Куценко в главных ролях. Издательства начинали, да и бросали на полдороге «украинские серии». И всё же, – если, допустим, переводчик вцеплялся в издательство и не отставал, пока книжка не выйдет – тогда что-то всё же доходило до русских читателей.

Так, можно сказать, чудом был опубликован в моём переводе роман Марии Матиос «Даруся сладкая» на немыслимую сейчас, в феврале 2023-го, для России тему – об оккупации советскими войсками Западной Украины и тамошней жизни сразу после Второй Мировой войны. Презентация «Даруси сладкой» состоялась в ныне запрещённом «Мемориале» (организации – лауреате Нобелевской премии Мира 2022 г.), вёл её Арсений Рогинский.

Совсем безнадёжным для украинско-русских переводов всё стало после 2014-го года, когда жизнь Украины перестала быть мирной. Началось военное противостояние с Россией, и дело уже было не только в опасливых российских издательствах.

В Украине начала появляться другая литература – о переживаниях человека в невиданных до сих пор обстоятельствах неявной, «промежуточной», не всегда даже названной и не всеми осознаваемой войны. Что-то из этой литературы мне удалось перевести и издать отдельными публикациями: в переводе на русский уже существует рассказ Сергея Жадана «Бежать, не останавливаясь»¹ (2014 г) и его же роман «Интернат»² (2017 г).

А в 2019-м, съездив на «Книжный Арсенал» в Киев, я задумала собрать полноценный сборник новой украинской прозы на темы, касающиеся этой, неназванной до поры войны, чтобы издать его в переводе на русский, как только представится такая возможность. К сожалению, она так и не представилась. А 24 февраля 2022 года и вовсе, казалось, похоронило всякую надежду на это. И только здесь, сейчас, на резиденции Эдинбургского университета, я неожиданно нашла у шотландских коллег поддержку своей идеи: дать русскоязычным людям – и тем, что в России, и тем, что разбросаны сейчас по всему миру, – возможность увидеть происходящие события украинскими глазами.

¹ <https://www.colta.ru/articles/literature/6538-bezhat-ne-ostanavlivayas>

² <https://www.litres.ru/sergey-zhadan/internat/chitat-onlayn/>

Не со всеми авторами, чьи рассказы мне хотелось бы здесь опубликовать, я смогла сейчас связаться: бомбёжки и обстрелы – не лучшее время для творческих контактов, – «всех разлучила война...» (Жак Превер). И всё же я рада, что могу представить этот сборник (теперь он включает ещё и несколько новейших произведений украинских авторов), названный по повести Оксаны Забужко «После третьего звонка вход в зрительный зал воспрещён» – писательницы, с которой мы творчески не расстаёмся все эти трудные годы.

Я чрезвычайно благодарна всем моим дорогим украинским авторам, чьи произведения здесь помещены (ни одно из них ранее не выходило на русском). А также – интернет-друзьям, разрешившим перевести их дневниковые записи трагических месяцев 2022-го года: подборка «Трымаймося!» – это уже новейшая, создаваемая прямо сейчас, украинская документальная проза.

...Можно ли во время войны говорить друг с другом на ставших трагически враждебными друг другу языках? У меня нет чёткого ответа на этот вопрос. Но я переводчица. И пока смогу – буду переводить.

«когда поворачивается мир спиной
и снова между нами расстоянья и стены
говори со мной
говори со мной
пусть даже слова эти ничего не изменят
и когда вокруг уже пахнет войной
и разворачиваются первые битвы
говори со мной
говори со мной

потому что словом тоже можно любить...»

из стихотворения Юрия Издрика (2014 г.), подстрочный
перевод с украинского.

Этот сборник не мог бы появиться без дружеской и профессиональной поддержки Института высших гуманитарных исследований Эдинбургского Университета, прежде всего Лесли МакАра и Бена Флетчера-Уотсона. Моя невероятная благодарность – Лиз Нивен, известной шотландской поэтессе, конвинуеру Комитета шотландского ПЕНа «Писатели в изгнании», благодаря которой стала возможна публикация дневников военного времени (вошедших в настоящий сборник) в журнале «PENning». В течение всего времени моей резиденции в Шотландии я была окружена постоянной заботой Эдинбургского City of Literature UNESCO – Али Бауден, Алисы Карр и Рут Плауден. Ещё раз благодарю от всей души Рут и Чарльза Плауденов за гостеприимство и возможность работать над этим сборником в их уютнейшем загородном коттедже, наслаждаясь красотой и покоем природы.

Результат своей работы – переводы в этом сборнике – я хочу посвятить светлой памяти моего друга Сашко Павленко – украинского публициста, блогера, знатока истории. Много лет его дружба и поддержка были для меня большой, невосполнимой ценностью. Всё время с начала войны он оставался в своём доме под Киевом. Сашка не стало в январе этого года.

Е.М.

2.02.2023

TRANSLATOR'S PREFACE

It's quiet here. The deer walk right up to the house. "Our" hare is grazing as usual on the grass under the window. Squirrels, pheasants, a swan on the lake nearby – they all look at you kindly, rounding their dark eyes with curiosity, freezing for a moment with neck stretched out, or with tail puffed up, or with wary ears – and carry on with their run, swim, flight or hop. Scotland. East Lothian. Not far from Edinburgh. The blessed cottage of Ruth and Charlie Plowden, who gave us shelter for the duration of my creative residency at the University of Edinburgh. Quiet. Only the wind, only the rustle of fallen leaves. Sometimes it even feels as if the war's hushed down. If only! I open the news, or email, or refresh my Facebook page – and the mad uproar, the unceasing anxiety inside me take over everything. My hometown, my childhood town – Zaporizhzhia – is being bombed. And other cities of Ukraine are also being bombed. People are left without light and heat, in basements and bomb shelters. Millions of refugees. And in Moscow, where my house remains, propaganda keeps rattling on, droning on that this is how it should be, and "everything is going according to plan". But they have already put air defence systems on the roofs there too... And my residency is literary, creative, translational...

For almost a quarter of a century, I have been translating modern Ukrainian literature into Russian. Now, Russian is hated by many people in wartime Ukraine. And Ukrainian is not known in Russia at all. "I want people to understand each other," I said in one interview. An idealistic, fine-sounding phrase, but is it possible to blame the translator

for a wish like that? Yes, that's what I still want. Sounds too bold at the moment. Especially in my "Russian-Ukrainian" case.

But once it did not seem so. In the autumn of 2001, the Ukrainian writer Oksana Zabuzhko came to Moscow for the presentation of her first novel, which I translated into Russian, *Fieldwork in Ukrainian Sex*. Beautiful, bright, in a dazzling white dress. The presentation was held at the prestigious "non/fiction" book fair in the Central House of Artists on Krymsky Val (and only just now I've noticed the symbolism of the address – "Krymsky" [Crimean] and even "val" [rampart / breaker],³ which immediately brings to my mind those suffering in a shipwreck in the famous Aivazovsky painting "The Ninth Wave" – well, disaster, yes, what else – but man-made...).

But at that time everything was just fine. The audience applauded the Ukrainian writer: some had already managed to read the book, and to realize that behind the provocative title there was not only a love story full of action, but a whole Atlantis of Ukrainian life absolutely unfamiliar to the post-Soviet people, with its intellectuals, its dissidents, with Ukrainian poets and writers – amazing, but silenced in the USSR and completely unknown in Russia. The book was widely read, much written about, republished several times. And then, other Ukrainian books were translated and presented in Moscow. The prose of the best Ukrainian authors became available in Russian: Yuriy Andrukhovich, Maria Matios, Serhiy Zhadan, Evgeniya Kononenko, Taras Prokhasko, Kost' Moskalets... It seemed that a dialogue of the two

³ Krymsky Val – a street in Moscow named a few centuries ago after the embassy of the Crimean Khan. The word "val" denotes a fortification made of excavated ground, and also a huge wave in the sea.

literatures began then and successfully goes on. But no. Not at all. In fact, it was stumbling all the time.

The “wrong”, i.e. not “pro-Russian”, candidate won the election in Ukraine on the wave of the Orange Revolution. I remember that around the same time, the rehearsals of Oksana Zabuzhko’s *Fieldworks*, staged by a trendy Moscow theatre director with Vera Sotnikova and Gosha Kutsenko in the lead roles, were stopped. Publishers were starting, and then abandoning halfway through, the “Ukrainian series” of books. And still, if, say, a translator clung to the publisher and did not let them go until the book was published – then something finally made it to Russian readers. Thus, I can say that the novel *Sweet Darusya* was miraculously published in my translation by Maria Matios. A book on a topic unthinkable in Russia today, in February 2023 – on the Soviet occupation of western Ukraine and life there immediately after World War II. The presentation of *Sweet Darusya* took place at the now banned Memorial (an organization that became a Nobel Peace Prize Laureate 2022), hosted by its head, Arseny Roginsky.

Things became hopeless after 2014, when life in Ukraine was no longer entirely peaceful. The military confrontation with Russia had begun, and it was not just a matter of wary Russian publishers any more.

A different kind of literature began to appear in Ukraine – about personal experience in the hitherto unseen circumstances of a war which was implicit, “intermediate”, not always even named, which not everybody was even aware of. Some works of this period I managed to translate and publish: today, available in

Russian translations are Serhiy Zhadan's short story *To run without stopping*⁴ and his novel *The Orphanage*⁵.

In 2019, after attending the Book Arsenal in Kiev, I began to put together a full-scale collection of new Ukrainian prose on topics related to this “unnamed” war, in order to publish it in Russian translation as soon as the opportunity arose. Unfortunately, it never did. February 24, 2022, seemed to bury all the hope of it. And it was only here, now, at the University of Edinburgh, that I unexpectedly found support for this idea from my colleagues in Scotland: to give Russian-speakers – both those in Russia and scattered around the world – the chance to see events through Ukrainian eyes. I have not been able to contact all the authors I would like to publish here: bombing and shelling are not the best time for creative contacts – “the war has separated everyone...” (Jacques Prévert). Nevertheless, I am glad to be able to present this collection (with several brand-new works by Ukrainian authors added to it), the title of which I took from the title of a story by Oksana Zabuzhko *No Entrance to the Auditorium After the Third Bell*, a writer I have not parted with in our creative work during all these difficult years.

I am extremely grateful to all my dear Ukrainian authors, whose works are published here (none of them was published in Russian before). And also, to my internet friends, who allowed me to translate their diary entries of the tragic months of 2022: “Trymamosya!” is the newest Ukrainian documentary prose, the one being created right now.

⁴ <https://www.colta.ru/articles/literature/6538-bezhat-ne-ostanavlivayas>

⁵ <https://www.litres.ru/sergey-zhadan/internet/chitat-onlayn/>

Is it possible to speak to each other in languages that have, tragically, become mutually hostile during a war? I do not have a clear answer to this question. But I am a translator. As long as I can, I will translate.

when the world turns its back
and again the distance and the walls are between
us
talk to me
talk to me
even if these words don't change anything
and when the smell of war is already all around us
and the first battles are being fought
talk to me
talk to me
because words can be used to love, too...

from a poem by Yuri Izdrik (2014), interlinear
translation from Ukrainian

This collection could not have appeared without the friendly and professional support of the Institute for Advanced Studies in the Humanities at the University of Edinburgh, and above all Lesley McAra and Ben Fletcher-Watson. I'm also grateful to Liz Niven, a well-known poet and convener of the Writers-in-Exile Committee of Scottish PEN, who made possible the publication of the wartime diaries part of this collection in *PENning* magazine. I have been surrounded by the constant care of Edinburgh City of Literature – Ali Bowden, Alice Carr and Ruth Plowden. To Ruth and Charles Plowden – my special heartfelt thanks for their hospitality and the

opportunity to work on this collection in their cosy country cottage, enjoying nature's beauty and peace.

I want to dedicate the result of my work – the translations in this collection – to the memory of my friend Sashko Pavlenko, a Ukrainian essayist and blogger with a profound understanding of history, politics and society. For many years, his friendship and support were of great and irreplaceable value to me. After the start of the war, he remained in his home near Kyiv. Sashko passed away this January.

E.M.

02.02.2023

Оксана Забужко

ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО ЗВОНКА ВХОД В ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ ВОСПРЕЩЁН

С мелочи, как всегда, — всё всегда начинается с мелочи: с соринки в глазу, с паршивого настроения, с обиды какого-нибудь закомплексованного Гаврилки Принципа (а вот нечего было насмеяться над задохликом!), а потом, — бац! — не успеваешь опомниться, — разрастается до масштаба космической катастрофы, которую попробуй теперь останови. *Закрой окно, пожалуйста,* — только и сказала она малой, когда машина поворачивала на Саксаганского, — она запомнила эту свою фразу, как можно запомнить рисунок на обоях в тот момент, когда стена валится тебе на голову: запомнила каждую деталь этого мгновения, со свинцовым уличным смрадом, доносившимся через открытое окно, и как сквозняк на повороте хлестанул её прямо в ухо, и как она перед тем, повернув голову, глянула налево, где на тротуаре перед «зеброй» стояли две блондинки с одинаковыми, развевающимися на ветру распущенными волосами, старшая и младшая, и о чём-то своём увлечённо жестикулировали, словно в кадре с выключенным звуком, — через стекло голосов не было слышно, но и без звука явно угадывалось, что это мать и дочь и что им хорошо вдвоём, и, может, именно это её и побудило окликнуть свою, может, она это сделала немного более нервно, чем следовало, но всё-таки вполне ещё мирно и без потери самообладания: *закрой окно, пожалуйста!*.. Она помнила интонацию, с которой это произнесла, и готова была честно признать: да, это был прорыв давно набрякшего раздражения, неприкрытый укор — «совсем не думаешь о матери, тебе плевать, если я простужусь и потеряю голос, а я, между прочим, тебя содержу, кормлю этим голосом, как пеликан грудью, и пора уже перестать воспринимать это как должное и начать хоть немного ценить, не маленькая уже!» — вот что на самом деле хотела она донести до своей надувшейся дочери, всю дорогу упрямо демонстрировавшей ей со своего

переднего сиденья нежный свежестриженный затылок, так ни разу и не изволившей обернуться, — дочери, с которой уже немисливо было бы вот так стоять посреди улицы, размахивать руками и смеяться (кого-то эта молоденькая изображала перед матерью, не парня ли своего передразнивала?..), — а рикошетом укор должен был дойти и до мужа, сидевшего за рулём в своем любимом статусе невмешательства, — обе они в этот момент для него были просто ценным грузом: что-то там себе щебечут попичьи, ну и хорошо, почти как включённое радио, классика или лаундж... Словом, что там говорить: она *на самом деле* ощущала себя в тот момент покинутой и одинокой, *чужой* для этих двоих на переднем сиденьи, — казалось, что они давно уже на неё забили и знай лишь эксплуатируют, каждый по-своему, такое вот паскудное ощущение будто детской обиды, на которую некому пожаловаться: сиротской, детдомовской обиды девочки, что плачет в туалете, — хотя, если вдуматься, откуда ей знать, как плачут сироты в детских домах?..

Может, это всё война, думала она потом. Может, во всём виновата война, и это её три года накапливавшееся подкожное раздражение уже даёт о себе знать, — так, словно мы все молча согласились, что среди нас есть люди, которым положено умереть от российских пуль, чтобы мы могли и далее пить по вечерам мохито перед экраном, когда транслируют футбол, — а мы им за это будем платить. И их семьям, когда их убьют. Ведь больше же мы ничего не делаем, верно?.. Хоть и оправдываем себя тем, что «помогаем армии». Через поле, через гай ходит мальчик Помогай. Ходит по кругу целая страна мальчиков Помогаев, и всем им чем дальше, тем труднее становится себя уважать. Муж уже привычно начинает день с фейсбучной ленты — выбирает фото АТОшных сирот (Ольга так и не приучила себя на них смотреть, её глаза сразу наполнялись слезами, и потом приходилось идти на кухню наливать себе чего-нибудь покрепче,

чтоб отпустило...), — копирует и вносит в специальный файл банковские данные из сообщений с просьбами о помощи и регулярно перечисляет небольшие, в несколько сот гривен, суммы: налог на совесть, думала Ольга, но вслух не произносила — они вообще за эти годы много о чём перестали говорить между собой вслух, этому их тоже научила война: научила, что словами разрушать гораздо легче, чем пулями, так что лучше обращаться с ними осторожно и не тратить — без уверенности — напрасно. Поэтому она всего-то и сказала малой одну-единственную фразу — *закрой окно, пожалуйста*, — только три слова, а вишь, как оно вышло.

Правда, кроме слов, есть ещё интонация, музыка, и кому, как не ей, об этом знать: о том, какая это мощная сила — человеческий голос.

Ульянку как ужалило, — она захмыкала, зафыркала, запищала, что в машине и так нечем дышать, что её мутит от Ольгиных духов (читай: это она, а не мама тут маленькая девочка, о которой все должны заботиться!), и этим рассердила Ольгу по новой, уже на градус выше (каждая ссора у них развивалась волнами, как множественный оргазм), — тем более, что муж и дальше молчал, вместо того, чтобы заступиться за её запах, сказать, что он ему нравится, и тем самым поставить малую на место: ведь — осознанно или нет — Ульянка целила именно в женскую уязвимость матери, и Ольга впервые подумала, что прозевала тот момент, когда перестала быть для дочки иконой стиля, — и от этой мысли её и саму замутило, как в самолёте, который вошёл в зону турбулентности, и это, в свою очередь, тоже было неприятно и унижительно — будто тело помимо её воли покорно ответило на «меня мутит» приступом солидарности, как когда-то текло молоком на её младенческий плач, только теперь Ульянка становилась *сильнее*, чем она, и пробовала свою силу на ней подобно тому, как в детстве лупила форте по

клавишам пианино, пытаюсь в то же время удерживать ногой правую педаль, и из-за этого Ольга и повысила на неё голос — уже машинально, как человек, пытающийся восстановить контроль над ситуацией, «а ну сейчас же отпусти!» — вот что на самом деле означал её крик: непедагогично, да, она готова это признать, нужно было взять совсем другой тон (доверительный, стисненный, так безотказно действующий на мужчин!) — и несколькими умными, точными пассажами размазать это малое паршивое создание так, чтоб оно заткнулось и остаток пути думало уже только о том, какое же оно ещё малое и дурное, — но что поделаешь, никто не застрахован от ошибок, особенно там, где два самых близких друг другу существа отлично знают, кровно и утробно, где у другого слабое место — куда нужно ткнуть, чтоб наверняка побольнее... А и заболело-таки, чего уж там говорить. Аж вспомнить стыдно, как по-дурному, по-бабски заболело, кто бы мог подумать.

...Это уже потом, готовясь к большому Разговору, Ольга думала, что, может, Ульянка и правда не очень хорошо тогда себя чувствовала: всё-таки у неё был первый день месячных, а в семнадцать лет это всё ещё событие, требующее повышенного внимания, — или уже нет?.. На этом месте она терялась, потому что про себя ничего такого в этом возрасте не помнила, — она вообще слабо помнила себя в семнадцать, вот что ей ещё открылось, — Ульянка незаметно заслонила от неё память о ней самой. Даже семейные анекдоты с их участием постепенно перемешались, как их косметика в ванной, и она уже не всегда могла сразу сказать: это с ней было в детстве или с её ребёнком, — как, бывает, сливаются в воспоминаниях явь и сон. И конечно же, как каждой матери, ей это нравилось: нравилось, что дочка выросла похожей на неё, нравилось, когда посторонние их путали, издали или по голосу, или принимали за сестёр, — ещё прошлым летом, когда Ольга сильно похудела, такое время от

времени случалось, и они от этого по-девчоночьи веселились, будто и впрямь ровесницы: два долговязых подростка, два пушистых одуванчика в одинаковых джинсах, — тогда они ещё менялись блузками (только в размерах груди отличались: ничо-ничо, подрастёшь, родишь — и у тебя будут «С», обещала она малой), — и Ульянка с открытым ртом вбирала от матери все те неписанные правила фамильной стильности, которым не учат ни в каких «Советах для девочек», и гордилась ею перед подружками, а Ольга втихаря по вечерам заходила на юниорские сайты, чтобы держать марку и быть в тренде (и только губы кусала при виде всех этих фэшн-шоу, которые они с мужем прозвали «банкет педофила», — но не упакуешь же ребёнка в хиджаб и бурку, и в конце концов в свои школьные годы она, Ольга, тоже ходила в таком мини, в котором нельзя было наклоняться, а только приседать, и ничего страшного с ней не случилось, а что случилось, было потом и не поэтому...). То вообще была счастливая пора в их с дочкой отношениях — эйфорично-хмельная, словно приправленная пряностями, от которых быстрее бежит по телу кровь, а в ямке под затылком словно взрывается мурашник и растекается вниз по позвоночнику: дома они не говорили об этом вслух, им с мужем хватало и молчаливого взаимопонимания — именно в то лето муж стал обшаривать соцсети в поисках военных сирот, а Ольга несколько раз ездила даже на передовую с шефскими концертами (а потом запиралась в спальне и плакала — словно хотела промыть слезами глаза, перед которыми так и стояли лица молоденьких бойцов, мальчиков с ещё бархатистой на вид кожей и голубыми жилками на шеях, как у одноклассников Ульянки...), — вечерами, когда Ульянка уходила спать, они вдвоём засиживались на кухне, пили коньяк или виски — немного, по соточке, чтоб снять напряжение, ведь нельзя же двадцать четыре часа в сутки жить в стрессе, — и порой после этого предавались любви, как в молодости: с обновлённой жадностью не к результату, а к самому процессу

слияния (а иногда муж среди ночи возвращался в неё сонную, как зверь по следу, и потом они засыпали вдвоём, не размыкая объятий, а наутро подушка была мокрой от слёз...), — ни один бы не признался в этом вслух, но на фоне всех жутких, взрывавшихся в ямке под затылком новостей, и слухов, и Ольгиных рыданий над фотографиями погибших, и неподвластно-подкожного круглосуточного страха (в то лето все боялись, что россияне возьмут Мариуполь, только и разговоров было, что про этот тоскливый и серый индустриальный город, где и так никогда ничего не было хорошего, кроме моря...), втайне они оба тогда *праздновали* — праздновали, что у них не сын, а дочка: что ни одна волна мобилизации, сколько бы их ещё ни выпало впереди, — никогда, никогда не принесёт в их дом повестку.

И не поставит перед выбором (как представляла порой себе Ольга, внутренне зажмурившись от ужаса даже самой его возможности) — или поднимать на ноги всех знакомых, чтобы пристроить ребёнка где-нибудь при штабе, или отправлять вместе с остальными на передовую под пули: есть нечто, как давно поняла Ольга, что лучше про себя не знать, есть ситуации выбора, в которые лучше не попадать. (Из всех их знакомых, чьи дети получили повестки, только у одних Назаренок сын отслужил «на поле», считай, на передовой, — специально ничего не стал говорить родителям, позвонил уже из автобуса по дороге в учебку: «Мам, привет, у меня всё о'кей, я иду в армию», — бедная мама целый год потом объясняла всем и каждому, что у него под Иловайском погиб друг, и парень с тех пор места себе не находил, — ну, слава Богу, вернулся уже, отстрелялся, целый-здоровый и, говорят, собирается жениться, — время от времени Ольга напоминала себе, что нужно бы проведать Назаренок, но в глубине души знала, что ей не хватит на это отваги — не сумеет она найти с этим парнем правильный тон: словно они поменялись поколениями, и теперь *она* будет подростком, а он — взрослым,

которому лучше не попадаться на глаза...). На выпускной они купили Ульянке вечернее платье от Лили Пустовит, почти за две тысячи евро — красный шёлк, гипюровый верх. Ульянка, с её тоненькой шейкой и ручками, была в нём такая красавица, что Ольга снова не могла удержаться от слёз; так и проревела весь вечер. Конечно, можно было так уж не жировать, поберечь деньги, Ульянка и не в дизайнерском платье была бы красавица, — но та сладостная, будто виной приправленная, тайная их радость от того, что у них, спасибо тебе Боже, не сын, а дочка, — тоже просилась наружу, требовала *своего* праздника: так сказать, легитимизации, признания и отпущения, — и сознание того, что чьи-то сыновья в это время гибнут, а чьи-то дочери (как Назаренко-сын рассказывал матери) в прифронтовых сёлах приходят спать с солдатами за тушёнку, наводило тем более пронзительную и болезненно-прекрасную резкость на проход Ульянки по школьной сцене в пурпурном платье — в крови бухало хард-роковым экстазом ударных, финальным хоровым «O Fortuna» из «Carmina Burana», и она ощущала, как её снова жжёт огнём в подзатылочную ямку, и по рукам ползёт мурашечно-кислотная слабость, выкатывая из глаз слезу... Никогда прежде не чувствовала она себя такой живой, как в то второе военное лето. Никогда, даже в юности.

Даже когда была влюблена. Даже когда в Одайника.

Даже в тот вечер, когда он пригласил её на танец, а она так его хотела, что аж зубы стучали, и она никак не могла унять дрожь.

Глупая ты дурёха, мысленно с горечью обращалась она к дочери, дивясь воскресшим у себя интонациям покойной бабы Ганны, — что ты знаешь?! Как ты могла?.. Что же ты натворила?..

Нет, с себя она, разумеется, тоже вины не снимала: могла остановить, могла не допустить. Погасить ту роковую ссору в

зародыше — но то-то и оно, что она же не погасить хотела (что означало бы уступку, молчаливое признание за малой этой новой, чужой, надменной отдельности, её уже взрослого права оценивать и судить мать по каким-то своим, не видимым Ольге законам, хоть бы речь и шла всего-то о духах — прекрасные, кстати, духи, разве только чуть-чуть пряноватые, терпковатые немного, с запахом живицы, ну так и не на тебя же, обезьянёныш, рассчитанные!), — не погасить, а победить, вот в чём штука! Ткнуть малую мордочкой в её, опять и опять неподобающее поведение, заставить раскаяться и снова стать такой, как год назад. Вот это и был главный *casus belli*. У всех их ссор, которые в последнее время сотрясали дом, будто эхо донецких артобстрелов, была по существу та же причина: это была война за территорию — за тот узенький клочок тверди, на котором ещё недавно они были сёстрами, подружками, в одинаковых джинсах, — одна *уже*, а другая *ещё* женщина, — вместе уминающие мороженое на открытой террасе ресторана и обсуждающие чью-то бусину в губе, а дома вместе валялись на тахте, и Ольга пересыпала свою жизнь в слова, как песок на пляже, чтобы показать дочке: смотри, держи, дорожи, теперь это и твоё тоже, — первый грубый, вохровский окрик на выход, нафиг с этого пляжа, она получила в кабинете эндокринолога, но она умела держать удар — чего уж там, не первый год на сцене! — и ничем себя дома не выдала, а того, что не названо вслух, считай что и не существует, и то, что вскоре с их общей территории её стала спихивать сама Ульянка, как подросший щенок отпихивает от миски старую суку с обвислыми до земли сосками, «ай, мама, оставь меня в покое!» (и — бабах дверью: когда такое происходит между партнёрами, это означает конец любви, люди, если немного шевелят мозгами, на такой стадии расходятся, чтобы друг друга не мучить, а с родной-то дочкой что сделаешь?), — Ольгу не остановило: она продолжала защищать своё право на территорию, ежедневно убывающую у неё под ногами (и где муж

был для неё уже не подмога, потому что, как и все мужчины в таких случаях, ни черта не понимал), она хотела невозможного, ну да: задержать, ещё немного потянуть понёсшееся вскачь время, потянуть, как ноту на фермате, загнать его назад в лунку хоть бы и молотком — силой, криком, если нужно, почему бы и нет, она даже крича умела слышать собственный голос со стороны и регулировать звук, и когда, после последнего мирного поворота («закрой окно, пожалуйста!»), дальше по Саксаганского их с малой уже несло по нарастающей — наперегонки, крещендо, додекафоническим дуэтом для двух ошалевших скрипок, которые уже не могло перекрыть добродушное вмешательство мужниного контрабаса, — она краешком сознания, хоть и была рассержена, не могла не отметить, какие всё же у них схожие по тембру голоса (только у малой выше, писклявей, жаль всё-таки, что она не захотела учиться пению, и на кой ей сдалась та мажорная юриспруденция?..), — всё, всё ещё можно было тогда остановить, оборвать на полуслове и рассмеяться, сменить тон, заговорить доверительно и ласково, или, наоборот, поучающе и строго, и всё бы обошлось, — если б Ульянка тогда сдержалась: если б не выкрикнула, обернувшись в профиль (наконец-то — обернувшись!), со своего переднего сидения со всей (как показалось в тот момент Ольге) злобой и презрением, на какие была способна, ту единственную фразу — последний удар молотком, от которого обрушивается шаткая стена:

— Да у тебя просто климакс!..

И тут все звуки у Ольги в голове выключились. В мире стало тихо, как в аквариуме.

Потрясённая, она глубоко вдохнула (получилось шумно). И вместо того, чтобы сказать что-то взрослое и мудрое (в голове только взвизгнуло тоненько: «ах ты ж хамка!»), — неумело, боком, как кошка лапой, ляпнула малую по кстати подставленной щеке.

При воспоминании об этом прикосновении-ожоге ей каждый раз хотелось спрятаться даже не как в детстве, под одеяло, — а под землю. (Пальцы запомнили, как поскользнулись, — Ульянка дёрнула головой, и Ольга перепугалась, не оцарапала ли она её накладными ногтями, — а могла же и в глаз попасть, о Господи!..). Грозно закричал (наконец-то!) муж — они как раз стояли на светофоре, в пробке, в среднем ряду, вся та ужасная сцена длилась меньше минуты, а совсем не так долго и медленно, как запомнилось Ольге в её аквариуме, но, каким бы замедленным всё и ни казалось, всё равно не зафиксировалось в памяти — словно компьютер в голове завис, — то мгновение сразу после пощёчины, когда Ульянка открывала дверь и выскакивала из машины, — очевидно, думала Ольга потом, мир мы всё же воспринимаем дробно, покадрово, потому что в следующем кадре Ульянка уже бежала посреди улицы, между машинами, в своём расхристанном плащике модного бирюзового цвета, причём бежала не на тротуар, а почему-то вдоль движения, по прямой, как заяц на ночной дороге, выскакивающий в свет фар и не соображающий, что нужно свернуть; машины уже трогались на жёлтый свет и наперебой истерично клаксонили ослеплённой девочке в бирюзовом плащике (как раз вот с таким саундтреком и должен происходить конец света), — а в следующее мгновение (тут снова был провал) Ольга и сама бежала за ней, подламываясь на каблуках, под визг клаксонов и ор водителей, вырастающий вокруг, как лес, и кричала во всё горло и на всю силу лёгких: «Ульяна, стой! Вернись! Ульянааааа!», — не видя перед собой ничего, кроме бирюзового плащика, который всё же свернул в сторону — и поскакал поперёк проезжей части к тротуару как раз когда улица задвигалась и тронулась, и за эти секунды Ольга воочию, с полной и осознанной отчётливостью увидела и пережила страшнейший клип своего воображения: как Ульянку ударяет в бок чёрный «паджеро», несколько тонн тупого металла, и как она вылетает из своего плащика и джинсов, как тряпичная

кукла, стучаясь, бумц! головой о багажник серой «тойоты» из первого ряда, и на асфальте кровь и мозги, и слетевшая с ноги туфелька (когда-то она видела такое в милицейской хронике) валяется в двадцати метрах под бордюром... Она не сразу осознала, что всё время, пока Ульяновка, уже на пешеходный красный, бежала к тротуару, она, Ольга, застыв среди потока машин на тех дебильных, будь они прокляты, каблуках, вопила ей вслед, как включённая сирена авианалёта, ааааа!!! — словно удерживала на месте, криком отгоняла от малой все те машины — как первобытный дикарь-хищник в древнем лесу, как финские женские батальоны Зимней войны, чьего наступающего визга в квинту не могла выдержать Красная Армия, — и Ольга тоже победила: *перекричала* весь перекрёсток Тарасовской и Саксаганского, остановила все эти сгорбленные, вытянувшиеся рядами в тюленьё стадо, тупые машины с их клаксонами — перекрыла, вымостила своим голосом коридор, по которому её девочка смогла добежать до тротуара, тьфу, тьфу, тьфу, тысячу раз сплунуть на это видение, не признаваться никому, нафиг такие уроки...

Вот только петь она в тот вечер не смогла. А они же как раз и ехали на её выступление (то есть, они с мужем ехали, а Ульяновка попросила подкинуть её на встречу с друзьями — прошло то время, когда она ходила за мамой хвостиком на каждый корпоратив!).

...В тот же день, то есть в ту же ночь, когда уже всё закончилось, и Ольга, как спущенная шина, лежала в спальне с мигренью и её раскачивал, словно при морской болезни, — тамтамами в голову, упрямый глухой бубнёж двух неразборчивых голосов на кухне, сговаривающихся против неё, — мужниного и дочкиного (вернулась всё-таки, нашлась, паршивка!), — незаметно вошёл муж (тамтамы в голове тем не менее не стихли!), постоял над ней в темноте и сел на кровать. Спросил, как

она. Спросил, как голова. Спросил, как горло. Ещё не хватало, чтоб уж спросил, когда у неё в последний раз были месячные.

Она понимала, что её что-то ждёт. Муж умел вести расспросы — как-никак, за ним было тридцать лет адвокатской практики, плюс и до сих пор обострённое — острее, чем у обыкновенных людей, — чувство справедливости, малая унаследовала это от него — в конце концов, она же была его дочкой, куда более, чем её, впервые с полной ясностью (о, эта слепящая ясность боли!) подумала тогда Ольга — и слабенько удивилась, что эта мысль не вызывает у неё никаких эмоций.

Но муж сказал нечто совсем неожиданное — и несусветное:

— Умер твой бывший... Одайник. Она знает.

— Не понимаю, — прошелестела в темноте Ольга.

Что-то на неё надвигалось, как целая улица машин на светофоре, но у неё уже не было голоса их остановить. Одайник? Умер? Ерунда какая-то, к чему тут это, почему, как, и при чём тут её ребёнок?..

— Она говорит, что знакома с его дочерью, — сказал муж, отвечая на её произнесённый вопрос, как это нередко случалось между ними в последнее время. — Где-то в клубе, говорит, та сама к ней подошла. — И после паузы добавил: — Не сердись на неё. Это всё-таки для неё травма.

И тут к Ольге вернулся голос.

— Блядь, — сказал этот голос, артикулируя, как из бочки, чётко и басовито, откуда-то из-под диафрагмы. — Ах, блядь. Ну блядь же. Сука, блядь, блядь.

Иных сильных ругательств она, как оказалось, не знала: не умела выговорить — и от этого, странное дело, почувствовала

себя такой же маленькой, беззащитной и обездвиженной, как недавно посреди улицы на своих высоких каблуках.

И лишь тогда расплакалась — и правда по-детдомовски. Лежала с головой, стиснутой обручем боли, била рукой по постели и приговаривала, плача: блядь, блядь, блядь...

«Тиффани!» — вдруг ни с того ни с сего, как на потеху, вынырнуло у неё в голове: так назывался модный цвет плащика Ульяны. Днём она это слово забыла, и вот оно вернулось: заторможенное воспоминание, ещё один симптом неотвратимого старения; здравствуй, климакс.

.....

Никто не знал, и негде было узнать, от чего умер Одайник, — за три года войны смерть от болезни, даже среди людей публичных и известных, как-то незаметно перестала в Киеве быть событием, которое стоит обсуждать, да и с кем Ольге было об этом говорить — их старая компания, в которой они в девяностых вместе тусили, давно распалась, и когда ей выпадало видеть кого-либо из них — а несколько раз друзья юности выныривали на её выступлениях и подходили потом поздороваться (навести мосты, думала она с хмурым подозрением...), — она, конечно, держалась по-товарищески, они обменивались телефонами и давно несмешными старыми шутками, — но никто потом по этим телефонам ни разу не позвонил. Ольге не хотелось думать про себя как про женщину, которая по ходу своей жизни вперёд и вверх — например, после удачного замужества (а своё замужество она, после начального периода сомнений, положила для себя считать удачным ещё до рождения Ульянки) или после записанного альбома (многим ли украинским музыкантам в те предвоенные годы удавалось записать альбом?), — выбрасывает на новом этапе старых друзей, как сношенные туфли, — да это и

неправда была, она вообще ничего не любила выбрасывать (как сказала однажды в обществе мужниных коллег и сразу же поняла, что состоятельные люди таким не хвалятся!), — и с детского сада, из музыкальной школы, из их святошинского двора у неё до сих пор сохранились некоторые друзья, даже кумами были, так что дело, как она в конце концов смогла себя убедить, всё-таки не в ней: просто вся та тусовка была заражена Одайником, а всё, что было заражено Одайником, рано или поздно распадалось — как распадался с годами и он сам, только наблюдать за этим ей уже не пришлось.

Киев — действительно чертовски большой город, и, если не принадлежать к одному и тому же профессиональному цеху, можно годами не пересекаться и ничего не знать друг о друге. Ольга знала, что Одайник женился, и что родил дочку, — то есть сначала родил дочку, а уже потом женился: «по залёту», как пошутил (но уже тогда это было не смешно) тот из их компании, кто ей это известие сообщил — кто-то не из ядра, а из тех электронов, что притягиваются ко всякой сильной компании, с яркими персонажами и красивыми женщинами, — притягиваются и определённое время маячат на орбите, то услужливо, то просто так мелькая на каких-то многолюдных вечеринках, пока не оторвутся или, наоборот, не войдут в более плотные слои атмосферы, так что имя того электрона Ольга не помнила, — их разговор оставил после себя неприятное ощущение (и правда, как от тесного башмака!) в основном из-за необходимости всё время избегать прямого обращения, чтоб не нарваться на конфуз, вообще-то в ту пору она была целиком занята собственной семьёй, и по сути у неё только и отложилось в памяти, что — вот, у Одайника, значит, тоже дочка: как будто он её передразнил. То есть её царапнуло, но не заболело: было и прошло, отсохло, и слава Богу.

...Что ничего оно не отсохло, обнаружилось только в тот вечер в Опере, когда давали концерт в честь шведского короля. Ни короля, ни королевы (которая всю женскую половину публики интересовала куда больше) Ольга не запомнила, и даже программу второго отделения могла припомнить будто сквозь сон (хотя именно во втором отделении пела её одноклассница, которая и организовала ей через театр дополнительное приглашение!), а прочней всего из того вечера у неё в памяти застрял запах пота — тяжёлый, просто-таки бомжатский, вокзальный дух нечистых женских подмышек, преследовавший её и в фойе, и в ложе, так что она во втором отделении тихонько вынула из клатча пробник духов и держала его около носа, — пока до неё не дошло, что источником запаха может быть она сама. Но она не помнила, как её бросило в пот. Могла бы поклясться, что поначалу абсолютно не узнала неприятного пузана с цепким колючим взглядом, когда тот в антракте подошёл к её мужу вместе с ещё какими-то дорого упакованными дядьками, — обменяться визитками и обнюхивательными репликами: «импреза» -то была как раз из тех, куда ходят организовывать знакомства, договариваться о встречах и демонстрировать близость к власти, и вся Опера, от партера до галёрки, на самом деле воняла деньгами, грязно и сладко, как несвежая прокладка, — деньгами родом с мясных базаров, из карточных притонов и эфэсбэшных переговорных комнат: из «спермы, нефти и крови», — как написала какая-то поэтка — и, как оказалось, попала в яблочко, только про нефть и кровь Ольга узнала уже намного позже. А вот сперма проступила сразу — словно на старых трусах Одайника, которые она, влюблённая до умопомрачения, когда-то украла и держала в ящике с бельём нестираными, — потом, разумеется, она их выбросила, кажется, чуть ли даже не сожгла, и вот они будто неожиданно нашлись, через много лет вылезли невесть откуда, когда она уже начисто про них забыла и лишь смотрела и внутренне морщилась: что это,

кто это? Лицо вроде знакомое, но где я могла видеть этого типа?.. Взгляд, которым неприятный пузан, знакомясь, скользнул по ней — будто горстью пауков обсыпал, — был подчёркнуто отстранённым, «не вижу — не знаю — не скажу», как в фильмах про итальянскую мафию, — и одновременно налитый тем затаённым самодовольством, которым мужчина показывает женщине, что не забыл, какая она в постели, — и Ольга, в своём лучшем, чёрном с пайетками открытом платье, прекрасная и величественная, как памятник собственному бюсту (куда там шведской королеве!), вцепившись в локоть родному мужу, который время от времени кивал этому быдлу: «да, пожалуйста... заходите, буду рад», — то есть, был им нужен (а не наоборот!), — стояла и мучилась, чувствуя, что все её доспехи, вся годами выстроенная защита, которой она гордилась, больше её не защищает, — пока она не вспомнит, кто этот тип, и что у неё такого плохого с ним связано, почему он смеет так на неё смотреть...

Она это вспомнила, когда он засмеялся. Мелким, рассыпчатым смехом, на удивление не подходящим к его фигуре, — на стаккато. Вот тогда-то её, по-видимому, и бросило в пот. Двенадцать лет назад он смеялся так же.

Второй мужчина в её жизни. А мог бы и не быть, это от неё зависело. Он её не насиловал (на самом деле — да, но про это знала только она сама и никому никогда не рассказывала; не смогла бы просто). Теоретически она могла бы сказать «нет» сразу, когда поняла, что же случилось: поняла, что этот хищноглазый бандюк (тогда ещё без пуза!), которого Одайник представлял ей как своего партнёра (и её будущего продюсера!), говорит правду, и Одайник действительно с ним договорился, уступив ему квартиру вместе с ней, а сам на это время исчез, — могла бы сразу сказать «нет», собрать вещи и уйти оттуда навсегда. (Потом у неё были долгие месяцы, чтобы подумать,

почему она этого не сделала, и вот это действительно были худшие месяцы в её жизни.) Про долг Одайника она знала, как ей казалось, всё; она же первая и заподозрила, что его нарочно заманили в «проект», из которого потом он уже не мог выйти, только как потеряв свой бизнес, — и рыдая, на коленях (она помнила звук, с которым грохнулась на колени на свеженастеленный дубовый пол) умоляла его не связываться с теми людьми, что затягивали его всё глубже и глубже в чащу какого-то необъяснимо-тёмного леса, но Одайник на глазах становился чужим — то новое и недоброе, что завелось в нём с появлением больших денег, разрасталось, как прогрессирующая шизофрения, и весь год она с ощущением тошнотной пустоты в животе смотрела, как он мечется мухой в паутине, силясь уже не совладать с долгом, а хоть отпихнуть его на время, чтоб не навалился и не задушил его всей своей массой прямо сейчас: то за полцены отдавал в счёт долга приобретённые было под офис помещения и новенький (так ему ещё радовался) «ланос», уверяя, что они и так были «ни к чему», а то вдруг устраивал шумную вечеринку, где она пела блюз, а все до одубения во рту курили царапучую крымскую марихуану, или вёз её в Австрию кататься на лыжах (чего она не умела, и половину того отпуска проплакала в отеле), — позже ей казалось, что она вообще тогда всё время плакала, весь тот год, даже больше, чем за год до этого после смерти мамы, хотя, конечно, это было не так, просто такой она себя запомнила — беспомощной слюнявой курицей, каким-то образом ещё и виноватой в том, что её любимый оказался перед финансовым крахом, потому что кому же такая курица может принести удачу?.. В один такой гнетущий вечер она сказала ему от всего сердца, как под венцом (они так и не поженились, как собирались): «Я всё для тебя сделаю!», — чтобы он знал, что она его не покинет ни в бедности, ни в болезни, пока смерть-их-не-разлучит, что на неё он всегда может положиться, — и он промолчал, это ей запомнилось — что он тогда промолчал:

словно то, что она сказала, уже не имело значения. Словно она уже была пустым местом и не могла заполнить ту бездну, в которую он падал. И только во время изнасилования тем типом — изнасилования, на которое она, как ни крути, *согласилась*, ведь тут, как на войне, есть всего две опции: или ты отбиваешься, или сдаёшься, тупо — даёшь или нет, а опции «мне всё равно, что вы со мной сделаете, потому что я уже умерла» в списке нет, тем более, что, как оказалось, совсем оно не всё равно, — только когда она, недвижимая и закаменевшая, дёргалась, именно как камень, от толканий противного чужого отростка внутри себя, осознавая при этом, как в кресле у дантиста, что с каждым тем толчком он вытряхивает из неё Одайника, стирает, физически обнуляет, переводит в прошлое их близость и её любовь, — только тогда ей стрельнуло, под давлением (буквальным) нового опыта, что ту её щенячью реплику: «Я всё для тебя сделаю!» — Одайник, уже не способный думать ни о чём, кроме своего долга, очевидно, так и истолковал — как предложение рассчитаться секс-услугами с его кредитором (ну а что она ещё могла для него сделать — спеть ему, что ли?..), потому и промолчал: предложение нужно было обдумать, — так что виноватой снова выходила она: не сумела выразиться понятней — и, значит, нужно было терпеть, просто терпеть, как стоять под ливнем без зонта (смешно, но ей и тогда казалось важным, что она не сделала ни одного движения навстречу своему насильнику!) — молча, покорно, как под давлением в корыте клейких помоев, не отдавая себе отчёта, что из тебя течёт, до конца, до размазанного по постели дерьма и блевотины, до несколькомесячной после этого брезгливости и ненависти к собственному телу, которое всё вытерпело и приняло — потому что от её трупного оцепенения этот Трупотрах (как она его мысленно окрестила) отнюдь не сник и не разохотился, наоборот, похоже, как раз это его и возбуждало — отсутствие сопротивления и сознание полной власти над ней: раньше она только читала о таком, это был человек из другой

реальности, напрямиком из того тёмного леса, который утащил и сожрал её любимого, и, возможно, она бы испугалась — не все же инстинкты, обеспечивающие женщине выживание, в ней тогда переключились! — и хоть что-нибудь бы сделала, нашла бы какое-то движение, какой-то свой ход в этой партии, по крайней мере, хоть уменьшающий её физические муки, раз уж дала себя в это втянуть, — но испугаться ей помешала одна физиологическая подробность, которую, как оказалось через двенадцать лет, она единственную про Трупотраха и запомнила: у него был маленький член — по чувству наполненности где-то в половину от одайникова, — и эта толкотня в пустоте, как ёрзанье в бутылке ёршиком, не достигающим дна, отключила в ней чувство опасности. Ей было только безгранично мерзко (потом несколько недель мучили приступы сухой рвоты), особенно когда он после всего сказал ей: «А ты маладец!» — и довольно засмеялся, вот этим мелко-козлиным, на стакатто, сыпучим смешком. Вот тут она и блеванула.

Ольга успела всё это вспомнить — словно застегнуть на себе расстёгнутую одежду, — как тут прозвенел первый звонок об окончании антракта (с детства ей впечаталось в прошивку тревожное, как штормовое предупреждение: «После третьего звонка вход в зрительный зал воспрещён»), и в наихудших своих кошмарах она то и дело опаздывала на собственный концерт и оставалась стоять под дверью, выискивая щёлку, чтоб заглянуть внутрь). Мужчины ещё обменивались визитками, а её пробрал цыганский пот, потому что на этот раз, через двенадцать лет, она-таки испугалась — испугалась, что тот самый тёмный лес, из которого она когда-то успела убежать (а могла бы и *не!*), теперь снова нагнал её, чтоб посягнуть на её мужа, на этот раз *настоящего*: отца её ребёнка, — и то, что она сумела за это время забыть, стереть из памяти черты лица кредитора Одайника, оказывается, ни от чего её не защитило и ничего в прошлом не

отменило, — и в те полминуты, когда все разногласия прощались, собираясь разойтись по своим местам в партере, она машинально схватилась за единственное преимущество, которое сохранило её тело в отношении к этой скотине: она *ответила* на его взгляд — спокойным, открытым, насмешливым взглядом женщины, которая и сквозь одежду видит, что вот у этого — короткий член, и пролистывает неудачу-самца, как квалификационная комиссия списанного спортсмена: иди-иди, нечего тебе здесь ловить, проходи-застегнись, Бог подаст...

И, что удивительно, тот отвернулся. Спрятал своих пауков. И в офис к мужу никогда потом не заявлялся, исчез бесследно; не понадобилась визитка.

... Мужу она сказала, чтоб был осторожен, — что это, кажется, бывший одайников кредитор, тот самый, которому Одайник хотел отдать её за долги. Муж знал историю до этого места, и что тогда она собрала вещи и ушла, не дожидаясь обещанного прослушивания: этого ему, для топографической ориентации в её прошлом, было достаточно. Остального — того, что случилось *перед* её уходом, — она не рассказывала, и это остальное сцементировалось в ней нерушимой минеральной глыбой. Своего мужа Ольга ценила: в ту тяжелейшую пору её жизни, когда она училась жить одна (сама себя содержать, сама себя любить, сама решать, когда говорить «да», а когда «нет»...), он стал первым, кто вернул ей физическую свободу — чувство собственного тела как источника радости, и тем самым будто реабилитировал, очистил от скверны, — в каком-то смысле это было даже важнее, чем если бы он был её первым мужчиной, и само по себе стало достаточным поводом для не затухающей в ней с той поры тихой благодарности; а кроме того, поначалу их очень сблизило то, что как адвокат он знал тучу историй о должниках, и куда страшнее: с убийствами, с продажами за долги в рабство, и не только сексуальное, а, можно сказать, в ясырь и на

галеры, иногда и целыми семьями, — она и думать не думала, какое разбойничье средневековое кишит вокруг под покровом внешней нормальности, и благодаря мужу впервые смогла посмотреть на то, что случилось с ней, отстранённо, будто выйти из сброшенной на пол грязной одежды, — и искренне поразиться, насколько же всё могло быть хуже, и как её, чудом, Бог уберёг! Муж считал это её заслугой, и Ольга хотела, чтобы он и дальше ею гордился. Про себя же она знала, что гордиться ей особенно нечем: Одайнику она была *сообщницей* — с той самой минуты, когда он впервые пригласил её танцевать, увидев, что она дрожит, и, приобняв, пробормотал: «Ну что ты, маленькая...», а у неё в голове всё помутилось от того, что он может её выпустить из объятий, и куда же она тогда, зачем же тогда?.. — и аж до того вечера, почти шесть лет спустя, когда она покорно, как побитая шлюха, дала себя оттрахать чёрт-те кому, потому что каким-то краем своей побитости всё ещё *слушалась* Одайника и продолжала бездумно верить, что ему *виднее*: что он лучше знает, *как* нужно, даже когда бросает её в чужую постель, — всю свою юность она была заражена Одайником и не представляла себя без него, и то, что удержалась тогда на краю пропасти, в которую готова была падать за ним без всякого сопротивления, можно было объяснить только одним — чудом. Ей просто повезло, что Одайник сам её освободил.

И теперь, после его смерти, когда она честно старалась настроиться на лирический лад и вспомнить, что, собственно, у неё с ним было уж такого хорошего, что она так за ним умирала (сильнее всего помнилось ещё девчоночье, крышесносное чувство счастья, когда она уже точно знала, что он её возьмёт, только не знала, где и как это произойдёт), — перед ней, вместо этого, раз за разом возникало его лицо с растеряннно-фальшивой усмешечкой и воровато ускользающим взглядом — лицо, с которым он к ней явился после Трупотраха — не просить

прощения, не оправдываться, не утешать, а делать вид, словно ничего этого не было, и предлагать и ей придерживаться такой версии — тоже делать вид, будто он ничего не знал и вообще ничего особенного с ней не случилось: ничего такого, о чём стоило ему рассказывать. Она не выдержала именно этого. Возможно, если б он повёл себя иначе — если б пришёл пьяный и валялся в ногах, или бы уверял, что случилась ошибка, бил посуду и матерился, если бы у него оказалось достаточно отваги или цинизма, чтоб повести себя иначе — пусть бы хоть что, только не это подлое убегание глазами (ни разу за время того разговора он не посмотрел ей в глаза) и трусливая надежда (да нет, вера!), что она промолчит и освободит его от тяжести содеянного, — возможно, думала Ольга (каждый раз при этом внутренне передёргиваясь, словно вновь повторяя телом те спазмы сухой рвоты), — она и тогда бы ему ещё простила. Простила бы и того бандюка, и два его использованных презерватива, которые сама выбрасывала в мусоропровод (этот кадр потом годами всё возвращался в её снах), и снова легла бы с ним в постель, как он и надеялся. Как в анекдоте: «пришёл муж и перее... всё по-своему», а что. Живут же шлюхи со своими сутенёрами, тоже вариант гармоничной семьи. Она не знала, у неё просто не было ответа на вопрос, что бы она делала и что бы случилось с её жизнью, если бы он сам не разомкнул объятия. Если бы держал её и дальше — как с той первой минуты в танце, все те годы, пока она была «его девочкой» — и готова была танцевать с ним не только, как пел её любимый Коэн (и она тоже это пела, на всех квартирниках это был её коронный номер!), «to the end of love» — но и дальше, уже за край любви: в тёмный лес, полный хищников, в мир больших денег и маленьких членов, туда, где уже спилось и скололось невидимое большинство украинских музыкантов, а из видимого меньшинства в «звёзды» выходило молодое мясо, которое московские продюсеры сдавали спонсорам на секс-услуги в почасовую аренду. Возможно, поведи себя Одайник иначе, ему

бы ещё хватило власти над ней, чтоб уговорить её остаться и делать именно такую карьеру, но он не оставил для неё выбора. Ей было противно, как от Трупотраха, хотелось его ударить. Но она лишь спросила новым своим голосом, спокойно и насмешливо, сколько тот ему скостил за неё долга: не продешевил ли, любимый?..

Она очень живо помнила интонацию, с которой он кричал: «Ты хочешь сказать, что я нарочно оставил вас вдвоём? Ты считаешь меня подонком, и так легко мне об этом говоришь?..» — гнев был таким наигранным, а звук таким фальшивым, что ей аж стало стыдно уже не за него, а за себя — что она это слушает: какой-то галимый провинциальный драмкружок, художественная самодеятельность, — и вот только тогда она пошла укладывать вещи, бросив ему через плечо: «Незачёт!» — почему-то по-русски, как разговаривал Трупотрах: будто заразилась от него и передавала Одайнику предназначавшиеся ему трихомонады, палучите-распишитесь. И вот, прошло двадцать лет и Одайника уже не было на свете, а его голос продолжал в ней жить — словно записанный на какой-то уже не используемой дискете девяностых, из которой его не достанешь и не послушаешь, потому что таких моделей больше не выпускают, но он всё равно был, существовал: как та устаревшая дискета, Ольга его помнила, хоть и не могла воспроизвести. Это открытие застигло её врасплох — как если бы ей сказали, что все эти годы в ней живым сохранялось семя Одайника.

Вообще это не было приятно — сознавать, что то красивое и мускулистое (впрочем, неправда, давно уже *не...*) мужское тело (порода всадника: сильный торс, короткие ноги...), — которое она когда-то обнимала всюю собой, с которого слизывала солёный пот, знала всюду на память и была тем счастлива, — сейчас лежит и гниёт — ну, то, что от него осталось, — где-то в деревянном ящике под землёй: ни одна смерть никогда не вызывала в ней

такого чувства неловкости и нежелания иметь с этим что-либо общее (про себя Ольга надеялась, что новой жене Одайника хватило деликатности его сжечь!). Так что она понимала, как это известие могло поразить Ульянку: она никогда не рассказывала малой, что до её отца пять лет жила с другим мужчиной, — рассказывала лишь, полушутя, как студенткой, скучая на парах, сочиняла себе роспись под будущую перемену фамилии (она постаралась, чтобы это звучало как воспоминание об обычных глупостях, о девичьем гадании-примеривании к знакомым парням в период брачных игр: а если этот?.. а этот?.. — и чтобы Ульянка не догадалась, насколько это было для неё интимное воспоминание — те несколько тетрадных страниц, раскудрявленных разными версиями одного и того же имени: ОЛЬГА ОДАЙНИК, ОЛЬГАОДАЙНИК, ОЛЯ ОДАЙНИК, О. ОДАЙНИК, — имя новой, незнакомой женщины, которой она *хотела* быть, — и как она через много лет, ища что-то среди старых конспектов и наткнувшись на те забытые упражнения, изорвала их, как ошпаренная, а обрывки сожгла потом в пепельнице). И уж точно никогда бы не рассказала она своей дочке, как однажды, через год, что ли, после разрыва, разрыдалась перед телевизором, где пел детский ансамбль: детки-рыбки старательно раскрывали ротки за дирижёром, а она неудержимо редела, закрывая рот кулаком, — от того, что могла бы родить Одайнику трёх, и четырёх, и пятерых певучих деток, похожих на него, пойти за ним на край света, купить хату в лесу и уехать куда глаза глядят, как ниточка за иголкой и с милым рай в шалаше — так она ему и предлагала, — податься туда, где их бы никто не нашёл, и всё могло бы быть совсем иначе...

Это был последний раз, когда она мысленно обращалась к Одайнику во втором лице, укоряя его в пространство — точнее, в экран телевизора, — так, как не случилось у них никогда наяву. И, в принципе, это и было настоящее прощание с ним — последние,

запоздавшие во времени послеродовые корчи, которыми после мертворождённого из тела выбрасывается послед. Так Ольга долгие годы думала, и на том и успокоилась. Когда после встречи в Оперном муж по своим каналам собрал информацию и рассказал ей про Одайника нечто новое, её уже не колотило и не мутило, — но поражена она была так же сильно, как теперь, должно быть, Ульянка: эти новости отнимали у неё уже всю её юность — чтобы мысленно не развалиться, нужно было выдавить её из себя всю, как гнилой пяточок из здорового яблока. Согласно мужниным источникам, Одайник свой бизнес таки потерял, но в рабство за долги не пошёл, а пошёл в политику: ошивался где-то там при штабах на каких-то сомнительных поручениях, переходил из рук в руки, из проекта в проект, а в последний раз был замечен совсем уже на дне — на тех комичных (как тогда казалось) пророссийских митингах ряженных — с попами-кадилами, сталинскими галифе и кубанскими папахами, — которые со странной регулярностью проходили в Крыму, Причерноморье и которые в то время никто не воспринимал всерьёз, не подозревая, что под прикрытием фриков и местной шпаны репетировалась сцена ввода российских войск. Муж показал Ольге фото с такого митинга, где-то в Херсоне или Одессе, — они везде выглядели одинаково, словно какая-то гротескно русифицированная постановка Толкиена: с бабами-ягами, лешими и прочей нечистью, только с уклоном в стиль «милитари», — и там, за спинами беззубых баб с аккордеонами, высушенных, как для гербария, татуированных алкоголиков и мордатых качков в тельняшках, сгорающая от стыда Ольга узнала свою сумасшедшую любовь. Одайник разве что постарел, и тоже некрасиво — лицо словно расфокусировалось и расплылось в поисках новой формы: «опоганился», говорила про таких баба Ганя, — но это, вне сомнений, был он: с телефоном возле уха выглядывал из-за спин тех упырей, как озабоченный надсмотрщик. Тот самый мужчина, которому она когда-то со

сцены пела Коэна: прилюдно объяснялась в любви. У Ольги горели щёки.

— А очень даже возможно, что он там и есть надсмотрщик, — подтвердил ей муж и указал ещё на нескольких мужчин похожей стати, разбросанных среди толпы (на самом деле, если присмотреться, довольно жиденькой): вот, мол, они и контролируют всю эту массовку. Ольге понравилось, что он не стал показательно топтать «её первого», от чего не удержались бы на его месте большинство мужчин, — охранил её от ещё большего унижения, — а подошёл к делу сухо-профессионально; именно это у неё и отложилось в памяти, а грязные подноготные каких-то там политических спектаклей, путаной российско-украинской войны то ли за нефть, то ли за газопровод, о которых муж ей толковал тогда, она восприняла так, как всегда — охала, делала круглые глаза и старалась высчитать, какое отношение всё это может иметь к ней и к её семье, но так как эта сторона обычно от неё ускользала, и всё остальное проходило словно фоном, как параллельная тональность в побочной партии, и быстро забывалось, — в следующий раз Ольга могла слушать то же самое, будто впервые. Не то чтобы оно было для неё слишком сложным, а просто казалось лишним. В делах общественных Ольга доверялась тому же ориентиру, что и в делах личных — собственному слуху: фальшивые ноты в голосе, и вообще то, *как* говорят люди, значило для неё больше, чем *что* они говорят, а ещё — смех и тембр голоса, стилистическое единство поведения человека и его внешнего образа, — вибрация, как она это называла, — по этому признаку она оценивала и митинги, и политиков, и на удивление редко ошибалась; благодаря этому могла прекрасно поддерживать разговор с коллегами мужа, и никто из них никогда не считал её глупой. Даже молоденькой, даже в восемнадцать — такая женщина не могла быть влюблена в

мужчину с той фотографии. Она даже и знакомой с ним быть не должна.

Что хуже всего, после этих известий Ольга потеряла уверенность в собственном прошлом — за всё её время с Одайником. Она больше не знала, как оценивать то или иное: например, когда Одайник говорил (а она слушалась), что они пока не могут позволить себе ребёнка, — действительно ли он заботился о её сценической карьере? Может быть, он никогда и не думал на ней жениться, а просто поддался чувству девушки намного его младше, — чувству, которое давало ему возможность не выглядеть лузером хотя бы в собственных глазах?.. А когда они летали в Австрию кататься на лыжах, он врал ей или себе — знали, что он банкрот, и хотел шикануть напоследок, или, чего доброго, уже тогда выполнял для своих кредиторов какие-то мутные эфэсбэшные поручения, о которых она и не догадывалась?.. И так было со всем, чего она мысленно касалась в своей юности: всё теперь распадалось, как прогнившее изнутри, — всё могло оказаться иным, не таким, как ей представлялось раньше, и только в том можно было не сомневаться, что она была тогда глупа, как валенок: не бог весть какое откровение, ничего на нём не выстроишь и, конечно, со своим ребёнком делиться им не будешь. Так что Ольга просто закинула весь тот кусок своей жизни в самую дальнюю кладовку сознания и заблокировала вход. Когда Ульянка подросла до возраста женских разговоров, она уже не застала в маминой жизни каких-либо следов Одайника. И слава Богу, думала Ольга, — и знала, что муж думает так же.

С началом войны она вновь вспомнила про Одайника — когда стало известно, что вслед за Януковичем сотни скрытых российских агентов из госслужб, и даже несколько музыкантов, — кто бы подумал! — удрали в Россию. Ольга представляла себе такую стаю воронья, большую чёрную тучу, исчезающую за хутором Михайловским. Почему-то она решила, что среди них

должен быть и Одайник. Это было бы логично, с учётом его политического прошлого, а главное — это было бы композиционно завершено как побочная тема её жизни: полное и окончательное очищение, удаление, хирургия, отмежевание от него уже в пространстве, зримо — как света от тьмы, как добра от зла, — вон! вон! в Мордор, за ров с крокодилами, за границу, за линию фронта...

Но Одайник никуда не уезжал. И теперь Ольге казалось, будто он все двадцать лет, затаившись где-то вдалеке, злорадно выжидал, пока у неё подрастёт не-его-дочка, — чтобы влезть уже в её жизнь, аккурат на том самом повороте, на котором он когда-то вошёл в жизнь самой Ольги: семнадцать лет, па-ба-ба-бам!.. Живым или мёртвым.

Именно в этом возрасте Ольга впервые его увидела. В семнадцать лет: первый курс, второй семестр, всё, как у Ульянки сейчас.

Боже, впервые осознанно удивилась Ольга, — это что же, и я тогда была такая же красотулечка?.. И ничего оно никому не помогло?..

.....

Она очень старательно подготовила этот разговор. Первым делом нужно было попросить прощения у Ульянки за свой срыв, за то, что дала ей пощёчину, — а это, в свою очередь, требовало предварительной разработки и аранжировки нескольких страшно трудных тем, и среди них главной, о которой до сих пор не знал никто. Кроме эндокринолога, к которому Ольга пошла по рекомендации дантиста, — так как в то лето не только похудела, но у неё ещё и зубы посыпались, как было только во время беременности, и первое, о чём спросил эндокринолог, не

беременна ли она. Доченька, мысленно репетировала Ольга правильную интонацию, когда-нибудь ты это тоже поймёшь... Нет, не годится, — для Ульянки сорок пять лет всё равно что семьдесят, по дальности — мегапарсек, «вырастешь — поймёшь» не пройдёт, нужно иначе. Доченька, ты помнишь, как я тебе рассказывала про менструацию и учила пользоваться тампоном? Так вот, ни фига ты не знаешь, и ни одна из нас не знает, пока сама лбом не стукнется, каково это — терять что-то из собственного тела: что-то, что всегда было твоим, — и учиться жить без, зная, что это уже навсегда. На самом-то деле мы всю жизнь что-то теряем, весь век нас гонят по этому тренажёру, как по беговой дорожке в фитнес-центре, приучая терять отваливающиеся по дороге невосполняемые части и не жалеть об этом, — но мы всё сопротивляемся, и знаешь, почему? Потому что отказываемся верить, что мы смертные, да-да, в этом всё дело, милая, каждая такая утрата — это микрорепетиция смерти, маленький звоночек на выход, которого мы не хотим слышать. Сияние кожи исчезает первым, вот эта твоя золотистая нежность молоденькой кукурузки уже через три-четыре года пошорхнет, чтоб ты знала, а первые морщинки, если всё будет хорошо, появятся лет через десять, здесь ещё много значит ритм половой жизни, но об этом мы поговорим как-нибудь отдельно... хотя тьфу ты, нет, этого не нужно. А потом дети забирают из нашего тела кальций — зубы, кости — и высасывают грудь: помнишь, как ты мне советовала не застёгивать пуговички на блузке? Так, чтоб та держала форму только за счёт груди? А вот ни фига, солнышко, — модную растрёпанную причёску а-ля «только с постели» мама сделать ещё может, и бёдра-плечи-живот держать в тонусе, чтоб на пляже не стыдно было раздеться, а вот боевую стойку «соски вверх», на которую эти педофильские модели рассчитаны, после грудного вскармливания хрен сымитируешь, и жилы на руках и ногах, вздувшиеся от двойной нагрузки на сердечную помпу, тоже назад не загонишь и до начальной гладкости не выхолишь, — так

уже и будет до конца жизни, прикинь, и ни одна женщина никогда об этом не пожалеет, понимаешь, в чём тут прикол?.. Это всё — как ордена, которые мы носим на теле, как шрамы, полученные в победных боях: паучки растяжек на опавшем барабане живота, устрашающие бурые рубцы после кесарева, куски голубых варикозных кружев на бёдрах, — мы хвалимся этим друг перед другом везде, где раздеваемся, хотя вся эта поп-индустрия громкостью в миллиарды долларов велит нам заткнуться и с каждой поверхности в поле зрения над нами смеются отглянцованные до парниковых ягодок пятнадцатилетние модельки, но мы знаем, чего не знают они — вы! — о том, что все эти наши, нажитые с вами физические уродства и недуги, которые нам велят утаивать как что-то постыдное, только поднимают цену *вам*, делают *вас* дороже, это уплаченная нами пошлина за то, что когда-нибудь вы нас переживёте и будете лучше нас. Не напоминание нам, что мы смертны, а наоборот — знак, что бессмертны, понимаешь? (Она поймёт, это она должна понять, только надо постараться, чтоб не слишком пафосно прозвучало...) Вот. И есть только одна физиологическая потеря, доченька, о которой женщины совсем не любят откровенничать друг с другом, хоть ты тресни, не любят это обговаривать, будто действительно здесь есть что-то стыдное, — и это как раз, чтоб ты знала, климакс, который ты помянула так небрежно, через губу. Тебе кажется, что это что-то типа ПМС, да? Ты увидела, что тампонами из коробки четвёртый месяц пользуешься только ты одна (чёрт, нужно было всё-таки оттуда подворовывать!..), смекнула, что к чему, наблюдательная девочка, и выставила маме снисходительный диагноз, как больной? А это совсем не то, Ульяночка, особенно в сорок пять. Это, доча, очень рано, чтоб ты знала, — в сорок пять, и поэтому накрывает, как крышкой гроба: выходишь от эндокринолога с такой идиотской улыбочкой на физиономии, будто тебя за дверью кабинета публика поджидает, и ты должна держаться так, чтоб

никто ничего не заподозрил, — и потом несёшь эту улыбочку по улице — словно пощёчину там в кабинете получила, но никто об этом не должен знать. Самый одинокий женский опыт. Хотя каждая через это проходит, раньше или позже, — но каждая хочет, чтобы позднее, чтоб как можно позднее, и тётки в пятьдесят-плюс хвастают месячными, как школьницы, — закатывают глаза, держатся за живот, сетуют, что не вовремя, и просят у коллег помоложе тампончик, чтобы все знали, что они ещё молодки ого-го, хотя и понимают, что молодым со стороны это прекрасно видно и те украдкой над ними посмеиваются, — и так и будут посмеиваться, как ты над матерью, пока сами не достигнут возраста, когда и их накроет: только тогда становится ясно, почему никто не хочет этого опыта, и не хочет, соответственно, в этом признаваться, — потому что это, доча, уже тот звонок на выход, который не проигнорируешь и не опротестируешь, хоть бы сколько после этого тебе ещё ни было отмерено прожить...

Только представь: тридцать пять, или сорок, или даже больше, это уже кому как повезёт, лет — ещё дважды по столько, сколько тебе сейчас, — в твоём теле живёт, вне твоего сознания, на клеточном уровне, мысль, служащая ему дирижёрской палочкой: хочу или не хочу я — вот сейчас, не медля, именно в этой точке своей жизни — ребёнка?.. И вся партитура твоего тела, которое ежемесячно набухает и разливается, помимо твоей воли настраивается в зависимости от этого вопроса: как жить, чтобы избежать, и как жить, чтобы приобрести, — ты словно инструмент и слышишь оркестр, ты подключена ко всем таинственным ритмам, к вибрациям вселенной, хору феромонов, погодных изменений, магнитных бурь, календарей мая, фаз Луны, приливов и отливов океана, ко всему, что ты, моя маленькая, в свои семнадцать только начинаешь открывать и присваивать, — и вот, представь, эту палочку у тебя внезапно отбирают, хоп — и

нету! Отныне все твои дни неразличимо сливаются, словно из яркого горного пейзажа тебя перенесли на бескрайне-плоскую равнину, засыпанную серым пеплом, и ты теряешь ориентацию — только тело по инерции ещё сопротивляется, как зверь, не понимающий, за что его наказали: немо ревёт, мычит, мечется и рвётся, как из тюрьмы, вон из собственной кожи. Пока не затихнет и не покорится, потому что все мы в конце концов затихаем... Тебя ещё спрашивают, не беременна ли ты, и ты сама ещё не понимаешь, что с тобой, а оно, оказывается, не беременность, а менопауза, ха-ха, смешно же, нет? Вчера девка, нынче бабка. Классическая комедия ошибок, женщина в менопаузе вообще комическая фигура: мужчины первыми спешат отомстить ей за ту власть, которая у неё над ними была, пока она воняла феромонами, — да и женщины, женщины тоже не отстают, всё стадо фертильных-полнокровных радо-радёшенько поскорее отмежеваться от той, которая больше им не *сестра*: от поцелованной смертью. Вот к кому ты захотела присоединиться, моя доченька. Вот почему глупая мама не удержалась и ударила тебя, извини.

Ольга сама была растрогана своей решимостью. Главное, чтобы Ульянка смогла понять её как женщина женщину. Чтобы они очертили их общую территорию — ту, на которой она всегда будет дочке нужна, потому что у неё всегда найдётся, что рассказать ей про её же саму: про то, что ждёт её впереди. Ульянка умная девочка, она поймёт. А какие-то там мёртвые мамы любовники из какой-то там мезозойской эры, когда её ещё на свете не было, будут выглядеть, глядя с этой территории, как говорила баба Ганя, мельче мелкого — как в обратный конец телескопа. Независимо от того, что там малой могла наговорить, по понятиям её возрастной группы, дочка Одайника. Почему-то Ольга всё забывала напомнить мужу, который курсировал между ними двумя, как посол между поссорившимися державами, чтобы

спросил у Ульянки, как же её зовут, ту девочку. Которая, конечно же, ни в чём не виновата, но которая неожиданно оказалась её главным противником.

.....

Её звали Ганка, и это был первый сюрприз от покойника. В те незапамятные времена, когда они с Одайником мечтали о будущем, Ольга ему открылась, что, если у них когда-нибудь будет дочь, она бы хотела её назвать в честь бабы Гани — Гафийкой, прекрасное же имя — Гафия: Ганка, Гася. Осмеяли, опоганили, ославили селянским «дурная Гапка» — и никто больше так детей не называет, а оно же звучит, как арфа! И почему, например, София — это нормально, а Гафия — нет?.. Когда родилась Ульянка, имя ей выбирал папа, но называть её Гафийкой Ольга уже не хотела и ни разу за всю беременность про неё так не подумала — словно её давняя нежность к этому имени (и правда, красивому!) тоже была заражена Одайником. Будто он влез ей в голову, отнял его там у бабы Гани и забрал себе. И вот оказывается, что он аккурат так и сделал, чутьё её не подвело. Даже на расстоянии допивал и доедал ещё из того, что давало ей силу. Из её соков, её ресурсов.

—Тогда уже — Агафья, наверное? — переспросила она, саркастической дугой выгнув бровь (сердце её учащённо колотилось: разговор пошёл не совсем туда, куда она надеялась, но главное, что пошёл, Ульянка с ней разговаривала!). — Ты же в курсе, что её отец работал на россиян? Она тебе не говорила?

Ульянка отрицательно крутнула головой (Боже-Боже, ещё недавно она носила заплетённые косички, и они так смешно мотались при движении...):

—Мне папа сказал.

И, после паузы, почти грубо, словно на что-то решившись:

— Ты что, из-за этого с ним порвала?..

Ольга облизнула пересохшие губы. Не знает! Боже правый, какое счастье, что она ничего не знает!.. Чтобы скрыть радость, которая неудержимо разливалась на её лице, она повернулась к Ульянке спиной и распахнула холодильник. Может, смешать им обеим по коктейлю? На равных, по-взрослому, как две подруги?..

— И из-за этого тоже, — промурлыкала куда-то на уровень сыров и кефиров. — Это уже финальный аккорд был, последняя точка. Он просто *не мой* мужчина был, не пара. Не так, как с папой. Сделать тебе мохито?

— Мне мартини, пожалуйста.

Ольгу кольнул автоматизм ответа — он свидетельствовал о привычке: так отвечают официанту, отвлекающему от важного разговора. С кем же это Ульянка наловчилась ходить по барам? С Ганкой Одайник?..

Должно быть, она очень одинока, та девочка, если даже к Ульянке полезла с расспросами. Родственничать на том основании, что «когда-то у моего папы с твоей мамой был роман», — вообще-то не очень нормально, подумала Ольга; ясно, что у этой Ганки, пусть она там Гафия или Агафья (да даже если обыкновенная Ганна — всё равно имя краденое, украдено у неё!), должен быть тяжёлый невроз и личностный разлад: мужу Ульянка успела рассказать, что Одайник из той семьи ушёл несколько лет назад, о его смерти там тоже узнали с опозданием, — вроде бы что-то с сердцем, инфаркт или инсульт... Ну, конечно, в семнадцать всё оно звучит одинаково, хмыкнула на это Ольга, — инфаркт, инсульт, они, наверное, в глубине души считают, что пятидесятилетним и так пора на кладбище! Ей было почему-то неприятно, что у Одайника могло быть «что-то с сердцем», — словно это наделяло его сердцем не только в медицинском смысле, а каким-то образом переводило в разряд «своих», всех

тех, кто после расстрелов на Майдане месяцами страдал от посттравматического синдрома, усиленного военным шоком, и киевлян ещё год узнавали по более тихому звуку голоса в разговорах и по реакции на резкие звуки — люди, например, замирали, когда в переполненном ресторане со звоном падала ложка, кто-то по несколько месяцев не мог глотать твёрдую пищу из-за комка в горле, у кого-то выпадали волосы или ломкими становились ногти, у женщин сбивались циклы, и свои собственные физиологические изменения Ольга поначалу тоже приняла за отдалённые последствия военного стресса и даже порой скромно ими хвастала, мол, она как тот рак, которого горе красит, — сбросила за месяц пять кило без всякой диеты!.. На концертах её благодарили за гражданскую позицию, она всё время чувствовала себя наэлектризованной, подключённой к всенародному горю, и друзья советовали ей беречь здоровье и не принимать всё так уж близко к сердцу, потому что кардиологи и неврологи сообщали про экспоненциальный рост и что стационары переполнены: сопутствующий эффект всякой войны, на который обычно не обращают внимания, они много об этом говорили с друзьями... А потом бац — и, как в насмешку, оказывается, что у неё не гражданская позиция, а тупо климакс, от сердца же умирает Одайник. Вот так, только-только привыкнешь к какой-то мысли — а уже нужно от неё отказываться, и как это выдержать?.. Мартини ей, ишь. Иногда Ольга понимала тех, кто жалел об СССР: там хотя бы никогда ничего не менялось. И ничего не нужно было выбирать.

— Для мартини у нас оливки кончились.

— Ну, пусть будет с лимоном.

— У тебя, может, есть её фото? В смартфоне?

— Ганкино?

— Угу, — Ольга энергично давила деревянной толкушкой мяту в бокале, втягивая запах ноздрями, как озон после грозы. Выиграет, она обязательно выиграет этот поединок, она в этом уже не сомневалась.

— Не знаю. Нужно поискать. Да ты её видела.

— Я? Где? Когда? — Ольга обернулась к нахохлившейся за столом Ульянке, забыв привести в порядок лицо. Сидит, как в гостях, мелькнуло у неё, нет, чтоб присоединиться и орудовать тут вдвоём; значит, ещё дуется.

— Она была на каком-то твоём выступлении. В «Докере», что ли.

Ольга понимала, что это уже неумышленная демонстрация равнодушия. Тем больнее ей стало.

— По-твоему, ко мне приходит так мало публики, что я всех должна помнить?..

— Ну, не знаю... Ганка говорила, там был зал небольшой. Ей, кстати, зашло. Сказала, что ты норм.

— Даже так?

— Ага, — Ульянка не уловила иронии. — Говорила, что «Минає день, минає ніч» ни у кого из женщин не получается, а у тебя ничего так получилось. А твой джаз-кавер на «Dance me to the end of love» звучит даже круче, чем у Мадлен Пейру.

— Я его пела раньше, чем Мадлен Пейру, чтоб ты знала, — Ольга перевела дух, чувствуя, что краснеет от вдохновенной злости. — Ещё в девяностых, это был *мой* хит. И если бы такие, как её отец, не разобрали страну на запчасти и не продавали москалям, которые все эфиры нам залили своей попсой, а нас загнали под шконку, то мои альбомы до сих пор тоже могли бы расходиться сотнями тысяч, даже не сомневайся!..

Лицо Ульянки поскучнело, и на нём промелькнуло то выражение, «слышали-слышали», вслед за которым обычно шло «ой, мам, оставь меня в покое», и Ольга испугалась, не обрубил ли она своим порывом только-только нащупанный контакт, — но Ульянка, видимо, упрямо решила попрактиковаться сегодня в досудебном расследовании:

— А вот она не так говорит. Она говорит, что её отец забашлял за твоё прослушивание каким-то крутым чуваком, а тебя там забраковали. То ли диапазон у тебя не тот для большой сцены оказался, то ли дыхалка, что-то в этом роде. Словом, не потянула ты, сказали — не Билли Холидэй.

— Это она тебе так рассказала?

И тут Ольга вспомнила эту девочку. Вспомнила, за каким столиком в зале та сидела, и как была одета — в зелёное, как тролль, в дредах, и цветной дракон на голом плече, татуха или нашлёпка: что-то такое и должно бы притягивать Ульянку, антитезой к тем выгламуренным деткам богачей, которые приезжали на занятия на собственных мерсах и среди которых она чувствовала себя довольно одиноко. Хипстерка была высокая, плечистая и большерукая, и вообще какая-то нескладная, будто ещё не вполне обжилась в собственном теле или оно на ней не дооформилось до конца: Ольга не сразу отметила, что у неё достаточно правильные черты лица, и когда она сидит тихо и не кривляется, то может выглядеть вполне себе красоткой, материал есть, — но заметила её Ольга не из-за внешности (правда, профиль-таки тенькнул ей чем-то забыто-щемящим, и во время инструментальных проигрышей она мысленно просила «зелёную»: повернись! Повернись, покажи профиль!..), — а потому, что та любой ценой *хотела* быть замеченной и изо всех сил мешала им, музыкантам: громко смеялась, разговаривала, чем-то звякала, даже её друзья на неё цыкали, и у Ольги так и осталась после того выступления, тревожным послевкусием, неуверенность, то ли девочка была обкуреной, то ли, чего доброго, нарочно демонстрировала ей, Ольге, своё

пренебрежение — эту вторую версию Ольга отбросила только потому, что так и до паранойи недолго. А оно вон, оказывается, что. Она как выходит.

Повернись. Повернись в профиль, пусть я тебя увижу.

Снова всё тот же тёмный лес надвигался на неё, подбирался, лоя чащобами, запутывая ноги кустарником. Теперь уже посягая на её ребёнка. Ну нет, это уже нет. Дудки.

Может, это она ко мне на ручки так просится? — в прозрении гнева подумала Ольга. Чтоб я её удочерила? Чтоб рассказала про её папу — какой он был смолоду офигенный чувак, красавчик и весельчак?.. А то что ж я, такая бездушная сука, что мне жаль для сироты нескольких добрых слов про её папу, он же и правда был когда-то красавчик и весельчак, почему бы нам не помянуть такого прикольного чувака, ага?.. Как в той лемковской песне — за тебя, Яничек, что четырёх любил, — шикарная, к слову, песня, давно просится в джазовую обработку... Пригласить их обеих с Ульяшкой на дринк — не на мороженое, какое там мороженое, большие уже девки! — на дринк, на мартини, на два, три двойных мартини, пьём-пьём по два-три, по три дня, — принять эту малую фефёлу, яблочко от яблоньки, в члены семьи, поговорить про её папу, пусть уже ему там, на том свете, будет, что заслужил, — повспоминать, оставив, ясное дело, за кадром всё дерьмо, зачем же девчущкам — что одной, что другой — такое знать, разве ж я сука какая бездушная, яжемать, моя функция — защищать малых, и дредовая головка это знает не хуже Путина и действует так же — «наши войска встанут за спинами женщин и детей», пристроилась за Ульянкой и прёт на меня танком, ах ты ж разумница какая! Вот интересно, это наследственное или приобретённое — Одайник её так успел по жизни научить, или она сама, по нюху вышла на ту же дорожку?.. Ведь это же стратегия: влезть в твою жизнь, обходными путями, слабыми местами, добиться, чтоб ты её начала собою кормить (раздвинь ноги и немного потерпи, что тебе, жалко?..), — столько, сколько она пожелает, сколько ей понадобится, чтоб вырасти... Нет, девонька, дудки, не на ту напала. Всё, что я могу тебе сказать

хорошего про твоего папу, — это спасибо, что отгрыз от меня меньше, чем мог бы: что я сегодня не в канаве под забором — а запросто бы! — что не скурвилась, не спилась, не скололась, а главное, что ничем, слышишь ты, говно маленькое, ничем с ним не связана, — что не родила на свет *своей* Гафийки Одайник, с полным пакетом папиных характеристик, чтоб всю жизнь потом их выпалывать, — вот за это действительно стоит выпить, да что там — за это каждый день стоит выпивать, до самой смерти праздновать, как мне повезло, что не я твоя мама, — ты *это* хочешь от меня услышать?..

Ольга поставила коктейли на стол и на мгновение задержала руку на бокале: прикосновение к холодному успокаивало, как компресс на разгорячённый лоб. Не гляди на меня так, мысленно взмолилась она к Ульянке. Я тебе не враг, доченька. Не я тебе враг.

Отчётливо теперь понимала, как это бывает только между кровнородными, — словно изнутри Ульянкиной головы смотрела, — почему Ульянка, которая вроде уже вышла из подростково-бунтарского возраста, в последнее время так к ней переменилась, а при этом с отцом сблизилась: все эти месяцы — бедный ребёнок! — примеривалась к Ганке Одайник, как к поставленному перед ней зеркалу, — примеривалась к той девочке, которой она сама, в её представлении, могла бы быть, если бы у неё был другой папа: если бы её мама осталась с Одайником. В семнадцать лет это должно производить впечатление, такая примерка, — тем более, когда альтернативный папа мёртв и помешать работе воображения своим реальным присутствием уже не может.

Ольге неудержимо хотелось обнять дочку, прижать её голову к своей груди, но оживший где-то в животе страх, что Ульянка вырвется, как давно уже стала вырываться, отстраняясь от какого-либо физического с ней контакта, — грубо, словно избегая насилия, — остановил и отрезвил.

— Понимаешь, дочь, — Ольге показалось, что она наконец нашла правильный тон, — существует на свете такая вещь, как

мечь мужчины, которым пренебрегли. Мужчины, чтоб ты знала, в этом смысле куда мстительнее женщин. Если ты от него уходишь, он и через двадцать лет будет про тебя сочинять небылицы, ещё и детям расскажет. Словом, скажи своей Ганке, что забашлять в то время её папа мог разве что за «вискас» коту, и то не каждый день... У него был долг почти в полмиллиона долларов. — Ольга с удовлетворением углядела, что у Ульянки невольно раскрылся рот и она сразу стала похожей на себя полуторагодовалую, смешного круглоглазого пупса, впервые увидевшего черепаху, есть такое её фото. — Хотя если она верит, что её папа был газовым олигархом, и это часть её идентичности, то можешь её не травмировать, пусть верит и дальше, — но, пожалуйста, не за мой счёт, а то это уже какая-то РашаТудей получается... Ну что, давай чокнемся?..

Ульянка низко опустила голову над бокалом. Затем резко отвернулась, и Ольга, с тем же уколом удовлетворения, поняла, что она глотает слёзы: тонкослёзая, как мама!

— Не плачь, малыш, — сказала ласково. — Не стоит того, нечего тут оплакивать. Одной иллюзией меньше — это ещё не потеря...

Вот теперь, — внутренне пружиня, как пума перед разгоном, подумала она, — можно переходить и к потерям. И о климаксе заговорить, теперь она поймёт. Ну, с богом! Она глотнула из рюмки, алкоголь побежал по пищеводу, как включающаяся гирлянда радостных огоньков. Вытащенный из-под пола труп Одайника дотлевал кружащимися посреди кухни последними искорками, превращаясь в пепел. Теперь она сможет о нём вспоминать. Или нет? Больше это не имеет значения; она свободна, свободна.

Со щеки Ульянки скатилась слеза и капнула на столешницу. Моё ж ты золото, влажно защемило Ольге, защипало в носу (ещё не хватало и самой тут разнюниться). Наверное, из-за растроганности она не сразу расслышала то, что выхлюпнула Ульянка сдавленным голосом:

— Какие же вы все... как же вы... врёте...

— Кто — все? — оторопела Ольга.

— Вы! Взрослые...

Это прозвучало так неожиданно по-детски жалобно из уст её разумной девочки, медалистки и отличницы, которая в разговорах с папой уже запросто пользовалась непонятными для мамы словами — Ольга в первое мгновение чуть было не рассмеялась — и только потом поняла сказанное:

— И кто же тебе врёт?

— Ты! — Ульянка шмыгнула носом. — Почему вы мне ничего не рассказывали?.. Ты думаешь, я глупая, да? Нет, ты даже этого не думаешь, потому что ты просто ни о ком не думаешь! Ты только о себе думаешь.

Вернула мне пощёчину, осенило Ольгу: наверное, вот так она чувствовала себя тогда в машине, когда я её ударила.

— Это я о тебе не думаю? — переспросила голосом, тихим в глубокий грудной бархат. Ещё заколебалась, не добавить ли чего-нибудь повъедливей («Если ты настолько несправедлива к родной матери, то как ты собираешься в будущем судить чужих людей?»), но решила, что это уже будет перебор, Ульянино чувство справедливости срезонировало и без того — малая высморкалась в салфетку и заговорила спокойнее:

— Ты думаешь о том, чтобы я тебе *не мешала*. Ты вообще так относишься к людям, не только ко мне. Как к массовке, что ли... Ты всё время будто на сцене, мам. И от людей, в том числе и от меня, и от папы, ты требуешь только одного — чтобы мы попадали с тобой в тон. В одни с тобой ноты, в твои ноты. Поэтому у тебя и друзей своих нет, у нас же только папины бывают... Ты просто не видишь того, что тебе не в тему, и хочешь, чтоб и я этого не видела. А я не хочу так жить.

— Ты несправедлива, — беспомощно сказала Ольга, чувствуя, что вот-вот — и она сама расплачется, уже не из солидарности, а вполне самостоятельно.

— Справедливость — это не всегда то, что тебе нравится, — произнесла Ульянка, явно от кого-то выученное. — Тебе главное, чтобы всё выглядело красиво. Чтобы все вокруг говорили, какая

ты гениальная певица, и крутая патриотка, и какая у тебя образцовая семья... а если бы и я ещё пошла на сцену и пела вместе с тобой дуэтом, то вообще было бы зашибись!..

— Подожди, поживёшь немного на свете, увидишь, как другие люди живут, — тогда поймёшь, что ты действительно выросла в образцовой семье. И дай тебе Бог создать когда-нибудь свою не хуже.

— В моей семье не будет вранья! — с холодной готовностью пальнула Ульянка, и Ольга подумала, что снова могла бы её ударить. — Ты... ты будто не по-настоящему живёшь, мам. Словно напоказ. Как будто всё время что-то доказываешь, непонятно кому, и кто это тебя так достал, — доказываешь, что вот какая ты крутая, и как у тебя всё круто... И ничего некрутого у тебя быть не может. Если бы я с дэцэпэ каким-нибудь родилась, инвалидом, ты бы меня спрятала и никому про меня не говорила, правда же? — (Может быть, пытаюсь спастись, подумала Ольга, она Ганку так и воспринимает — инвалидом или чем-то вроде того, она всегда была жалостливой девочкой.) — Или если б я бросила универ и пошла в армию? На фронт, вот представь, а, — слабó? Да ты бы день и ночь билась в истерике, пока бы папа меня не вернул, скажешь, не так?..

— Ну вот что ты городишь? — глухо, словно на левой педали, спросила Ольга. Мигрень! — стукнуло ей в голову внезапным страхом, только бы не началась мигрень, всё остальное я выдержу, но что же она такая жестокая?..

— А что, я неправду говорю? Ты просто не хочешь слышать правду, которая тебе не нравится! Ты от неё бежишь!.. Андрей говорил, его мама уже несколько раз напрасно готовила ужин, так как ты обещала, что вы с папой придёте, — да так и не пришли, каждый раз что-то более важное у тебя находится, то репетиция, то ещё какая-то фигня... Что, не хочешь видеть калеку? А придётся!..

— погоди, — попросила Ольга. — Я ничего не понимаю. Какого калеку? Какой Андрей?

— Мой! — неожиданно выкрикнула Ульянка вновь набрякшим слезами голосом, и Ольга как-то сразу поняла: вот, вот оно, то, что всё время лежало у неё под полом! — Мой Андрей!

— Я ничего не знаю ни про какого Андрея. Ты мне ничего...

— О-ля-ля, и эта женщина тут ещё что-то говорила про РашаТудей! Не знаешь Назаренок?

— Назаренок? — Ах да, подумала Ольга, их парень и правда Андрей... — Ты про их сына? Того, что вернулся из АТО? Вы что, с ним... встречаетесь?

(О Господи, сколько же ему лет, этому Андрею, он же совсем взрослый, он был в десятом классе, когда Ульянка была в первом, нет, во втором, они были у Назаренок на дне рождения, и он с ней играл, с малявкой, вежливый подросток, что-то ей рассказывал, о Господи, АТОшник, взрослый дядька, год на войне — что десять на гражданке, порох из-под ногтей, говорят, месяцами не вымывается, чего он там только не посмотрелся, говорят, поствоенный синдром держится годами, Ульяночка, утёнок желтоклювый, домашняя девочка с тоненькими ручками, стоп, так это что же — на ней, говорила мать Андрея, её сын собирается жениться?!)

— Мы любим друг друга! — патетически объявила Ульянка, и Ольга подумала, что при других обстоятельствах сейчас бы улыбнулась — так по-детски неестественно, как на иностранном языке, прозвучало это заявление: встань на стульчик, расскажи стишок... Но она не улыбнулась. Андрей Назаренко был старше Ульянки ровно настолько, насколько в своё время Одайник был старше Ольги, и в этом было что-то необъяснимо страшное, — что-то, от чего её ударило жаром в подзатылочную ямку, будто стартовала сигнальная ракета, осыпавшись мурашками по рукам и ногам. А Ульянка, ни на что не обращая внимания, валила на неё и дальше, видно, тоже из заготовленного — из отрепетированного заранее с не меньшим, чем у мамы, старанием:

— И ты, пожалуйста, не думай, что сможешь мне отказать, я заранее знаю все твои аргументы!.. Меня вовсе не пугает его

культя, я видела его без протеза, а протез мы закажем новый, сейчас их делают крутые, на сенсорных датчиках, это уже не просто крючки, а такая искусственная рука, прикольная такая, как у киборга, я ему говорю — ты сейчас Фредди Крюгер, а будешь Люк Скайвокер...

Она улыбнулась, и Ольга, оторопевая, увидела, как её личико со склеенными мокрыми ресницами при воспоминании о том разговоре — нет, о том, кому она это говорила и кого в эту минуту видела перед собой, — разъясняется изнутри, туманится нежностью, словно найдя наконец источник света. Значит, это правда, поверила Ольга — поверила как-то всему сразу, одним заходом, и только по физической инерции выпрашивала себе ещё минуту, ещё две незнания, как приговорённый просит закурить перед смертью.

— Рука? — спросила тупо.

Ульянка поспешно, будто барабанила по клавишам — престо, престо, — затарахтела что-то про работу мышц, про двенадцать функций протеза — или про двадцать четыре, Ольга уже не понимала слов: видела только её оттопыренный большой палец — малая показывала, как он сгибается, взяла для наглядности рюмку с мартини и так держала. Ольга почувствовала, что у неё болят предплечья — словно она рывком подняла на себе многоквартирный дом.

— У него что... нет руки?..

— Только кисти, — показала Ульянка. — Гранатой оторвало, он её рукой отбрасывал...

— А они говорили, — как сквозь толщу воды, вспомнила Ольга, — что с ним всё в порядке.

— С ним *всё в порядке*, мам. Ему *всего лишь* оторвало кисть правой руки. На войне такое случается, это нормально. — Господи, подумала Ольга, что она несёт?.. — Для этого и существуют протезы.

А я хотела ей рассказывать про утраты, вспомнила Ольга — и закрыла лицо руками. То чувство вины, с которым она орала на машины посреди Саксаганского, пока плащик цвета «тиффани»

отдалялся от неё, петляя поперёк тягучей пробки, на этот раз затопило её с такой силой, что она ухнула в него без звука, как камень на дно водоёма. «Недоглядела», выбулькнуло в голове забытое словцо: так баба Ганя говорила про тесто. Действительно, как можно было не заметить, загружая в стиралку Ульянкины футболки, что у неё пот стал пахнуть иначе, по-женски — остро, мускусно, призывно?.. А нет, заметить-то она заметила, но дальше этого наблюдения думать побоялась, выставила себе в том месте блок. Она вообще многого в жизни боялась, вот в чём дело.

Вот против чего, сама того не зная, бунтует Ульянка, и её Андрей тоже. Чего они никогда не поймут, а я им не объясню: что значит жить в страхе. Жить со страхом, как с членом семьи. Даже Ганке Одайник не объясню, что это была наибольшая ошибка её отца: он ведь тоже превыше всего хотел выглядеть красиво, на это ставил и в этом сильнее всего боялся прогадать — слушался своего страха, и поэтому у него всё, в конечном счёте, и получилось так некрасиво, как только может получиться у человека в это время и в этом месте. Но это его дочка когда-нибудь должна будет понять сама — когда повторит в своей жизни — в другой тональности, в другой аранжировке — главную тему его ошибок.

Страха у них нет, у этих детей, подумала она с нестерпимой, прибывающей нежностью — как-то сразу и про Ульянку и, вторым планом, сквозь неё, — про Андрея Назаренко, и ещё про каких-то невидимых детей, многих-многих, которые вдруг перестали быть детьми. Когда их что-то пугает, они не убегают, а идут ему навстречу. Берут оружие и идут на фронт. Не боятся жить; ну и умирать, если придётся: они уже знают, что это тоже часть жизни. Моя девочка, моя Лясёк, Боже-Боже...

Слёзы текли у неё по щекам, как из плохо закрученного крана: как только выплывала одна, сразу за ней в уголке глаза наливалась другая. Я её уже ни от чего не предостерегу, думала Ольга, невольно слизывая слёзы с губ, словно капли дождя с солоноватым привкусом. Она будет проживать всё то же самое, что и я, но по-своему. Мой опыт ей ничем не поможет. Она его

просто не распознает, не увидит, где будет ступать в мои следы, — по крайней мере, пока сама не доживёт до моих лет. Пока не догонит меня вот в этой самой точке — где меня тогда уже не будет.

Но тогда — тогда есть ещё один шанс: если я ещё буду жива, и в здравом уме и в твёрдой памяти, как была до последнего баба Ганя, — тогда мы ещё раз сможем пересечься на равных, и на близком расстоянии (на узком пляже, на песчаной косе...) разговаривать друг с другом и друг друга слышать. Тогда нам будет о чём поговорить: лет через тридцать, не так уж и долго ждать. И это будет уже последний раз, моя маленькая. Один у нас уже был, нам повезло. Второй — ещё может повезти. А третьего не будет; третий раз в жизни никому не даётся.

Ольга подняла голову и глянула на дочку через все свои слёзы разом.

— To the end of love, — произнесла насквозь увлажнённым и тяжёлым, как мокрая простыня, голосом. — Вот это оно и есть, — она хотела было подпеть из Коэнова танго, но мокрый голос вздрогнул, и она испугалась, что разрыдается уже по-настоящему, головой в стол. — Ты права. Я бы в твои годы вряд ли влюбилась в инвалида. Ты очень отважная, дочка.

Ульянка обескураженно пробормотала:

— Сейчас война, мам. Что ты сравниваешь...

— Я знаю. Это многое меняет. Но не всё.

— Давай сюда свою рюмку, что ты её крутишь, она давно пустая...

— Я бы ещё выпила, — попросила Ольга.

— Я тебе сделаю.

— И себе тогда уже заодно.

— И себе сделаю, — Ульянка встала, слепящим колышущимся силуэтом в маминых несмаргиваемых слезах. — Только не плачь, хорошо?..

Ольга улыбнулась. Детям всегда страшно, когда плачет мама; мама не может плакать. Всё, что угодно, — ругать,

ссориться, допекать, стареть, чудачить — но не плакать, нет. Ребёнку не должно быть страшно, никогда, ни в каком возрасте.

— Не буду, — сказала она. — Знаешь, что я подумала? Может, пригласишь Андрея к нам в воскресенье? А я вам спою Коэна. Как думаешь, ему понравится?..

Июнь-август 2017 г.

Марианна Кияновская

ПРЕЛЕСТЬ

Переезжали за раз. То есть за нами приехала машина, погрузили наши сумки (что-то в них всё же поместилось), посадили меня и маму, повезли. Приехали в центр. Я сразу поняла, что это центр. Потому что клумбы с розами. Квартира маме понравилась. Мебель приятно пахла. В отдельной комнате — Гоба сказал, что это гардеробная, — было много одежды, тоже очень приятно пахнущей. Он сказал, что это всё теперь наше, можем пользоваться.

Меня заперли в детской: чтоб не путалась под ногами. Но из дома не разрешили взять Ваську, поэтому я сначала долго лежала на кровати и плакала.

Детская была большая. Много игрушек, всяких. Кроме кровати и какого-то непонятного зеркала было ещё что-то похожее на тумбу, но странное, с ящичками, наверное, для одежды. И большой шкаф — застеклённый — с куклами. Почти до потолка. Я его не открывала, просто смотрела на кукол сквозь стекло. Думала, как там Васька. Под подушкой лежала кукла, немного похожая на Ленину куклу Катю. Голая, в одних трусах. Я начала искать для неё одежду.

Вдруг мама за дверью моей комнаты громко засмеялась. Шагов почти не было слышно, но я знала, что она быстро ходит по комнатам и ужасно радуется. Звонит по телефону. Громко и долго кого-то благодарит. Произносит вот это своё — «пре-елесь». Квартира — пре-елесь. Да не прелесь квартира, раз мы не взяли Ваську. Ну, может когда-нибудь ещё возьмём.

Найденная под подушкой Катя лежала на кровати и глядела в потолок. Я взяла её, принюхалась к её волосам. Волосы пахли сладко, не малиной и не конфетами, а чем-то, чего я никогда не пробовала. Будь я маленькой, я бы лизнула, наверное, одну из её косичек. Интересно, чем пахла та первая девочка. Интересно, что она ела.

Мне понравилась моя детская комната. Что меня сейчас здесь закрыли, ничего не значит. И Гоба нормальный такой. Не очень молодой, зато весёлый. Не бьёт. Рассказывает анекдоты. Ходит с мамой в рестораны. Хотя вначале я его очень боялась.

Одежда для Кати всё никак не находилась, я подумала, что та, первая, девочка, наверное, держала Катю в коробке на кухне, но в кухню я ещё не заходила, поэтому открыла один из ящиков в большой тумбе и начала примерять всё, что там было. Футболки, толстовки, лосины — подошло всё. В джинсы я не влезла. В каждом ящике к деревянной стенке были прикреплены пластинки с очень приятным, вкусным запахом. Одежда пахла фруктовой жвачкой и ванилью. И шоколадом. И ещё, как в рекламе — «невероятной свежестью». Наверное, часть вещей недавно выстирали.

Над столом были красивые цветные полочки, сбоку — полочки поменьше и ещё очень много всего, но ни компа, ничего такого. Только одежда, игрушки, куклы, запертые в шкафу, запахи, Катя-дюшеска. На подоконнике за шторой — жестяная коробка с наклейками, а нарисовано на ней печенье с шоколадной начинкой. И нигде ни следа той, первой девочки. Ни мобилки, ни зарядки к мобилке, ни фотографий. Словно этой девочки вообще нет. Но это я привыкла жить так, будто меня нет. А та девочка точно существовала на самом деле.

Наш старый дом был очень старым, и всё в нём было очень старое. Я спала на скрипучей кровати вместе с бабой, пока она была жива. Потом уже только с Васькой. Мама всегда работала в другой комнате. Когда ко мне приходили Ленка с Валеркой, главное было — не шуметь. Баба лежала очень, очень тихо, даже с мамой не ссорилась. Ленка приносила своих кукол, и мы игрались её и моими куклами, и однажды, когда мы так игрались, баба громко захрипела и быстренько умерла, и Ленка не позволила мне плакать и звать маму: «Там у неё, наверное, её хахали, позовёшь, когда они все уйдут!» — и мы продолжили играть, хотя я очень боялась мёртвой бабы. Мама сначала начала кричать, зачем мы её не позвали, но о самой бабе совсем не плакала, и я видела, что на самом деле она даже рада. После

этого Ленка почти перестала к нам приходиться, разве что приносила продукты от своей мамы для моей и забирала у нас — наши мамы иногда менялись продуктами. Ленка чаще всего передавала какие-то конфеты, мама меняла их на водку, оставшуюся после хахалей.

А Лерка и так приходила играть очень редко. В конце концов мы с Васькой остались в комнате вдвоём: без Ленки, без Лерки и без бабы. В другой комнате жила мама.

Когда я просыпалась утром, то долго прислушивалась, одна ли мама или с кем-то. Если с кем-то, это было и хорошо, и плохо. Плохо — потому что это значит, что мне нельзя выходить из комнаты, разве только в туалет. Хорошо — потому что, когда приходили мамы хахали, на кухне появлялась еда.

Зимой к маме стал приходиться Гоба, мамина «прелесть», но он ночевал у нас только пару раз. И это тоже было и хорошо, и плохо, потому что когда мама впервые исчезла на несколько дней, нам с Васькой вообще нечего было есть. Я как-то сама поняла, что раз нет еды, нужно пить воду и беречь силы — много спать, так что мы с Васькой понакрывались перинами на старой бабиной кровати — и он меня грел, даже мурчал.

Но потом мы переехали к Гобе, у него появилась для нас очень хорошая квартира.

Детская мне понравилась — меня там больше не запирали — только в первый день. Мама не любила, когда я расхаживаю по квартире, и я старалась не попадаться ей на глаза. Кроме детской комнаты и наличия хорошей еды, для меня на новом месте мало что изменилось: я сама брала себе что-нибудь в холодильнике, причём старалась брать понемножку, потому что не знала, что мне можно брать, а что — нет. В одной из комнат нашла на столе ножницы — и теперь у моей куклы Кати не было никаких проблем с нарядами, я не пожалела порезать для неё лучшие яркие футболки. Иногда я задумывалась, что бы на всю эту роскошь сказала Ленка. Когда-нибудь, думала я, мы с мамой тут умрём, как наша баба, но до этого времени будет лучше, чтобы никто не

знал, где мы живём, и что у нас тут есть большой холодильник с продуктами, а у мамы — куча новой одежды и духи. Потому что тогда нас ограбят или даже убьют.

Когда в квартире никого не было, я шла в коридор и нюхала мамины шарфики. Её духи мне ужасно нравились. Гобины вещи были не в спальне, а в другой комнате, и ещё в кабинете. Он носил камуфляж, но иногда, редко, одевался совсем иначе: красивые и стильные, как в рекламе, свитера, преимущественно светло-серые, кремовые штаны. Они ему очень шли и сидели на нём как влитые, но человек в камуфляже не стал бы покупать себе такую одежду. И тогда я спрашивала себя: кто же жил тут, в этой большой квартире? Что с ними со всеми случилось?

Как-то Гоба меня спросил, почему, раз мне десять лет, я не хожу в школу. На самом деле я уже когда-то ходила в школу, но потом началась война, и мама сказала, что теперь не до того. Но Гоба пообещал, что он над этим подумает, но что всем ещё нужно дожить до первого сентября, а пока что — хорошая девочка, молодец, будь вежливой и слушайся маму.

Когда мы с мамой переехали, к нам стала приходиться баба Зоня — убираться и готовить еду. Она успевала всё быстро переделать, но никогда не уходила сразу, а усаживалась у нас на кухне, вынимала клубочки с шерстью и спицы. Я любила смотреть, как она вяжет. Постепенно она приучила меня к себе. Баба Зоня напоминала мне мою бабу, и я однажды чуть не попросила её лечь рядом со мной спать. Как-то баба Зоня принесла мне иголку и нитки для шитья. Показала, как шить «одежки». И я стала шить одежки для куклы Кати.

Три одежки. Четыре одежки. Восемь. Баба Зоня хотела со мной поговорить, всё время о чем-то заговаривала сама, но я в

основном молчала, потому что в старой квартире, живя с мамой, немного отвыкла разговаривать. А ещё — боялась, что сделаю какую-нибудь ошибку, скажу что-то не то. Баба Зоня принесла целую сумку цветных, ярких лоскутков для Катиных одежек. Зато куда-то делись две мои футболки и красивые синие лосины, ещё кое-что. Сама я их для Кати не разрешила. Почему-то я была уверена, что их взяла баба Зоня — возможно, на продажу. Или выменять. Но я всё равно шила одежки из вещей той, предыдущей девочки, а баба Зоня вела себя так, будто это не она украла. Я тоже делала вид, словно ничего не заметила, не рассказала ни Гобе, ни маме. Мне не хотелось, чтобы Гоба прогнал бабу Зоню. Без бабы Зони, с одной только мамой, мне было бы здесь очень плохо.

Баба Зоня сидела со мной только на кухне. Это Гоба её привёл, мама очень не хотела. Да Гоба маму и не спрашивал. Баба Зоня делала всю мамину домашнюю работу — даже лепила для Гобы вареники. В спальню она заходила только убирать. В мою детскую — тоже. Когда она включала пылесос и открывала все двери, квартира казалась слишком большой, тогда я хватала Катю и пряталась от бабы Зони на кровати в детской. Однажды я увидела через открытую дверь спальни маму — серую и вымученную, совсем не такую, как обычно. Она лежала на кровати, на спине, глядела в потолок и беззвучно шевелила губами. Я впервые за много дней ощутила её присутствие в этой квартире, и поняла, что маме иногда бывает здесь очень плохо. Что ж, сама виновата. Пить надо меньше. Меня переполняли злорадство и ненависть. Я бросилась в ванную комнату — поплакать, увидела в зеркале свое лицо — смешные губы, красный нос — и всхлипнула, будто засмеялась. Мне стало легче.

Гоба в основном возвращался домой поздно вечером или даже ночью. Иногда, довольно часто, его не было дома по несколько дней. Но приходил он всегда в тёмное время. Баба Зоня, наоборот, приходила только днём и уходила от нас так, чтобы успеть до комендантского часа, до патрулей. Гоба, по-видимому, патрулей не боялся. Подъезжала машина, мама — красивая и улыбающаяся — бежала обнимать и целовать Гобу в губы, как только тот открывал дверь.

Я, как и раньше, то есть на нашей старой квартире, старалась быть тихой и незаметной. Катя тоже всегда молчала. Я любила придумывать для нее одёжки.

Однажды Гоба пришёл домой окровавленный: его подстрелили, ничего страшного, слегка задело, хорошо, что на кухне в шкафчике было всё, что нужно для перевязки. Он вызвонил бабу Зоню, потому что у мамы в спальне началась истерика, оказалось, баба Зоня, ещё как только начала к нам приходиться, позаботилась — на всякий случай — о бинтах для Гобы, пластыре и всём остальном; откуда-то баба Зоня заранее знала, что Гобу могут подстрелить. Она приготовила ему повязки, когда он ещё не был ранен, догадалась я, — она будто «надумала» его рану — и всё так и случилось, значит, я тоже так могу.

Гоба позвал меня на кухню и велел подавать ему то стерильный бинт, то ещё что-то, за это время он выпил почти полбутылки водки. Мне было жутко, я чуть в обморок не падала, но стиснула зубы и очень старалась помогать. Когда повязку наложили, когда я прилепила к его волосатому плечу последнюю полоску лейкопластыря, Гоба впервые за несколько недель открыл свою особенную, всегда запертую комнату и закрылся изнутри.

Мне было трудно «надумать» что-то для себя, да и лоскутков ни за что бы не хватило, поэтому я решила, что сошью две куклы, нет, лучше всё-таки четыре: меня саму, Гобу, маму и бабу Зоню, придумаю для всех четырёх одежды и, как баба Зоня, займусь «надумыванием».

Начала с бабы Зони. Это казалось самым легким. Тем более, что среди лоскутков были несколько из той же ткани, что и платье бабы Зони. Баба Зоня показала мне, как шить тряпичную куклу, как наполнять её ватой. Я, конечно, не собиралась ей рассказывать, что кукла, которую я начала шить, — и есть сама баба Зоня. Мы вместе выбрали две небольшие коричневые пуговицы — это должны были быть глаза. Она показала мне, как сделать кукле лицо. Катя, пока я шила, лежала рядом. Думаю, Кате, красивой и длиннокозой, все эти мои придумки не очень нравились.

Баба Зоня сидела со своим вязанием, а я как раз заканчивала шить куклу бабу Зоню — и представляла себе её так, будто она мне родная бабушка, и мы живем все вместе — вчетвером — в селе, в её доме, и я с ней вместе сплю — на кровати с вышитыми подушками, под образами, и она рассказывает сказку, а потом предлагает мне петь с ней песни или колыбельные, чтобы убаюкать нашего кота Ваську, и я засыпаю. Только в моих мыслях та хата была намного больше, чем мне помнилось, была тёплой и уютной, в ней хорошо пахло сушкой, яблоками и медом. Но я не могла придумать, как поёт баба Зоня. Баба Зоня никогда не пела, во всяком случае я никогда этого не слышала.

Вдруг я поняла, что кукле, которую я сейчас шью, нужен совсем другой наряд вместо того, что был похож на Бабызонино платье. Кукле — Бабе Зоне — нужна юбка и вышитая блузка с безрукавкой. Вышить блузку я бы не смогла, поэтому придумала, что нарисую узор на материи цветными карандашами.

Гобу и Маму я сшила уже сама, ничего не спрашивая у бабы Зони.

Пока шила, представляла, что Гоба — мой папа (на самом деле папу я никогда в жизни не видела), одежда для него придумалась и сшилась на удивление легко, потому что папина одежда вообще почти не имела значения, главным было само слово — «папа». Я всё повторяла это слово у себя в голове — и мне представлялось самое прекрасное: велосипед, запах осеннего дыма одновременно со всех соседских огородов, смех за обеденным столом, свежее молоко с хлебом и ежи в саду — я их едва помнила, но представляла, что мы с папой наливаем ежам в тарелочку молоко, чистим молодые орехи — и поэтому наши пальцы до черноты измазаны бурым ореховым соком.

Куклу Маму я сначала не знала, как шить. Казалось, даже в теле куклы мама не хочет быть рядом со мной, я не могу её представить, она не слышит меня, не разговаривает со мной, и я не понимаю, какая она, потому что мама, живая мама в цветастом домашнем халате, какой я её помнила и с которой мы сюда переехали, — исчезла, и теперь это только дорогие платья, две шубы, голос в другой комнате и запах духов. Её глаза не смотрели на меня, она даже говорила — не обращаясь ко мне. Тогда я начала мысленно называть её не Мама, а Прелесть. Прелесть — думала я о ней. Прелесть, я так хочу, чтобы ты была Мамой.

Сама даже не понимая почему, я сшила куклу совсем без лица, но мне захотелось, чтобы у неё были роскошные, как у мамы, волосы, и я отрезала ножницами обе Катины косички и

пришила их, как умела, к Маминой голове, — с чувством вины, аж до боли, и до боли же — наслаждения, осознавая, что делаю что-то крайне плохое, и в то же время что-то очень правильное.

Голову Кати я обмотала чистым носовым платком, представляя, будто она ранена, будто я делаю ей перевязку, и начала думать, из чего сшить платье для Мамаы. Платье надо было сшить такое, чтобы сразу угадывалось, что Прелесть — это мама. Или что Мама — Прелесть.

Куклу Бабу Зоню и куклу Гобу я уже почти закончила, поэтому положила Прелесть рядом с ними. Украденные у Кати для Прелести, отрезанные под самый корень с Катиной головы косички топорщились на Маминой голове, и я ничего не могла с этим поделать. Катя лежала на кровати лицом вниз и, казалось, плакала. Глядя на Катю, я вдруг вспомнила Лену и Леру, и то, как мы с ними играли в куклы в нашей старой квартире. Тогда я догадалась, что не могу придумать платье для Мамаы, для Прелести, потому что мне чего-то не хватает. Может, не хватает кого-то из её хахалей. Гоба маминым хахалем скорее не был, он казался добрым. И он там у нас почти никогда и не ночевал.

Поэтому и не получается, не соединяется — мама, Гоба, баба и я: ведь Гоба — не хахаль.

Меня охватило странное, незнакомое до этого чувство: сейчас от меня действительно всё зависит. Только от меня. Всё, абсолютно всё. Всё зависит от того, какое я придумаю платье для мамы. Для Прелести. О себе, о кукле-ребёнке, я ещё не думала. Меня вообще ещё не было.

Я мысленно приказала себе: «Ты должна думать не о кукле — о Прелести. Думай о живой, настоящей маме. Думай о маме, когда она ещё хоть немножко была мамой». Я представила бабину хату в деревне, и что я только что пришла со двора, вся в снегу. Вся мокрая. Баба всплёскивает руками и бросается на

кухню — ставить чайник. Мама начинает меня раскутывать — развязывает тёплый вязаный шарф, снимает с меня шубу, потом — шапку, встаёт на колени и долго развязывает шнурки на моих ботинках. Я ничего не чувствую, кроме её запаха — тела, волос, она немножко пахнет мукой и жареными шкварками, на её желтоватом домашнем халате след — полоска — потому что прислонилась к столу, когда обминала тесто. В тот день вечером должен был быть Новый год, должен был прийти Дед Мороз с подарками, кажется, он и приходил, но я этого не запомнила. Запомнила маму, запахи — мамин и праздника, бабу, которая, прежде чем напоить горячим чаем с малиной, отвела меня в комнату, раздела до трусов и начала растирать всё тело шершавым, застиранным полотенцем. Ещё от того дня я запомнила дядю Вову с мандаринками, который тогда часто к нам приходил. Он велел называть его «папа», но баба ругалась: «Не смей!», почти как баба Зоня, когда я раз принялась к Гобиной водке. В конце концов, водка у нас есть всё время. Баба Зоня следит, чтобы в холодильнике стояла хотя бы четвертушка и была хорошая закуска. Чтобы Гоба был доволен.

Я немного отвлекаюсь от своих мыслей. Со двора слышны выстрелы, причём даже не очень далеко. Обычно у нас не слышно, когда стреляют. Старая квартира — когда мы ещё жили не у Гобы и с бабой — была ближе к зоне обстрелов, и мы с бабой так привыкли, что уже не боялись, а здесь мне почему-то всегда очень страшно.

Ночь, Гоба с мамой смотрят боевик в спальне, и я знаю, что мне туда к ним никак нельзя. В этом отношении Гоба такой же, как все мамыны хахали. Ничем не лучше.

Я иду на кухню: от страха, что стреляют, почувствовала, что должна что-то пожевать, прислушиваюсь к звукам из спальни, это уже не видео, это они там так стонут, и вдруг мне приходит в голову, из чего я должна сшить одежду для Прелести. Из маминого любимого и очень красивого шёлкового шарфика. Она, пьяная — на какой-то забаве, — прожгла в нём дырку. Потом я слышала, как Гоба смеялся, что, мол, классная дырка, дырка — это у нас вообще символ эпохи. Я подумала, что Гоба потому не ругается, что шарфик, как и всё остальное, моей маме достался от мамы той первой девочки, так же как мне досталась детская, а самому Гобе — кабинет и ещё одна целая большая комната. Вообще, вся эта квартира. Теперь у моей мамы есть гардероб и ещё полный шкаф шикарных вещей, у меня — полный шкаф кукол, а у Гобы — машина.

На кухне мне не так страшно. И уже не стреляют. Я, с крекером, стою у окна, слушаю тишину — надолго ли она, пытаюсь понять, где тот мамин прожжённый шарфик. Где-то в спальне или в гардеробной, где же ещё ему быть, — но как же мне его найти? Мама меня убьёт, если застанет возле своих вещей. Внезапно на кухню выходит Гоба. В тонком, вероятно, дорогом, как и всё здесь, халате, я раньше никогда халатов на мужчинах не видела. У него волосатые грудь и ноги. Я почему-то так испугалась, что есть мне уже совсем не хочется. «Что ты здесь делаешь? Почему не спишь?» Говорю: не сплю, потому что проснулась; стреляют. Это неправда, я ещё ни минуты не спала, но Гоба этого не знает. Он вполголоса велит мне идти спать, а сам садится и наливает себе водки. От него остро и резко пахнет — потом, лёгким перегаром, сигаретами, мамиными и его собственными духами, чем-то ещё, но самое важное, что все вместе эти запахи означают какую-то угрозу, и я вдруг задумываюсь: а всё же, что он делает с моей мамой в постели, почему она потом оцепенело лежит в спальне часами,

уоставившись в потолок? В этот момент дверь спальни открывается, мама выходит к нам на кухню и долго смотрит — сначала на Гобу, потом на меня (а я всё ещё стою в пижаме у окна). Я не выдерживаю её взгляда и убегаю к себе в комнату.

Мама быстро идёт вслед за мной, догоняет, тыльной стороной ладони бьёт меня по лицу, изо всех сил отталкивает меня — так, что я аж падаю, — и выходит из моей детской, громко хлопнув дверью.

«Ну, просто прелесть! — говорит она на пороге. — Такая маленькая, а уже шлюха».

Я представляю куклу Прелесть в платье, которое я для неё сошью из маминого прожжённого сигаретой шарфика. С дыркой — на груди, слева. Всхлипываю, а потом ещё раз и ещё. Из кухни доносится странный звук — будто кто-то кого-то ударил, тихо, но откуда-то я знаю, что это Гоба бьёт маму. Странно, но мама не плачет. Утром, когда Гоба уходит, я слышу, как мама, запертая в спальне, бьёт кулаками в дверь и кричит так, что мне хочется умереть.

Бабы Зони почему-то нет. Мама у себя. Там очень тихо, но до меня доходят запахи. Я думаю, что мама сейчас пьёт виски или что-нибудь такое. Я решаюсь выйти только в туалет, так сильно её боюсь, и в туалете пью воду из-под крана. Маму Гоба запер на ключ, я знаю это, но всё равно меня тянет спрятаться от неё за шторой. Потому что мама может захотеть меня убить. Тем более — пьяная.

Через два дня ко мне в детскую заходит Гоба.

«Видишь, тут такое дело. Я поговорил с бабой Зоней. Будешь пока что жить у неё».

Я переезжаю к бабе Зоне, так сказал Гоба. Все мои вещи уместились в сумку и школьный рюкзак той первой девочки. Гоба говорит, чтобы я не переживала, мы с бабой скоро сюда вернёмся. Садимся в его машину, едем.

Баба Зоня, оказывается, живёт одна в двухкомнатной квартире, почти такой, как старая наша. Мне она показывает кровать, где спать, — она похожа на нашу с бабой. Даёт мне две новые большие коробки: из-под телевизора и из-под микроволновки. Говорит, одна — для одежды, другая — для игрушек. Из игрушек у меня только Катя и те три матерчатые самодельные куклы — я их оставляю в сумке. Катю усаживаю на вышитой подушке. Оказывается, баба Зоня была когда-то уборщицей в какой-то конторе, а Гоба был крутой бизнесмен и большой начальник. Баба Зоня убирала у него в кабинете, поэтому он ей доверяет. Когда Гоба привёз меня с мамой к себе в квартиру, то сразу понял, что без бабы Зони не будет дела. Оказывается, квартира, куда мы переехали с мамой, всегда была Гобина, он там жил ещё до войны. И детская, где я жила, — комната его единственной дочери. Баба Зоня сказала, что произошёл какой-то взрыв, какая-то авария, несчастный случай, бандиты подложили в машину бомбу. Жена Гобы и дочь сели в машину, а он — нет. Гоба именно поэтому из Донецка никуда не уехал, остался воевать. Но его не интересует война с хунтой. Он хочет перебить всех тех бандитов. Баба Зоня сказала: корит себя, что не сел в машину со своими. Теперь ему жить не хочется. И не Гоба он на самом деле, а Николай Иванович. «А ты на его Таню похожа, он ещё до войны мне всё их фотографии показывал».

Я слушаю бабу Зоню, и потом долго сижу и думаю: если Гоба напоминает мне папу, а я Гобе напоминаю его дочку Таню, то это, наверное, совсем не случайно. Может, моё «надуманное»

начинает постепенно сбываться? Значит, нужно дошить Мамино платье, сшить куклу — себя, и тогда мы вчетвером — я, мама, папа, баба — будем жить долго и счастливо. И мама будет разговаривать со мной по вечерам, и согласится записать меня на плавание, и будет водить в школу, и будет хоть немножко меня любить, ох, думаю, ну хоть совсем чуточку. На самом деле о таком я могу только мечтать, а представить себе это не могу вовсе.

А может именно поэтому я никак не могу сшить куклу-себя? Та частичка меня, которую любили, которую любила моя баба, умерла в нашей старой квартире — вместе с бабой. Осталась страшная, несчастная, может, худшая, никому не нужная моя часть, и кукла-ребёнок никак из-за этого не шьётся. Я беру в руки Катю, её волосы пахнут, как и всегда, — как и в тот самый первый день, когда я нашла её под подушкой. В этот момент я до слёз жалею, что отрезала Катины золотые косы. Прелести они не нужны. Ей нужен Гоба. И не Гоба даже, а квартира Николая Ивановича, в которую он её привёз. Квартира в центре, с гардеробом, с двумя спальнями. Моей маме нужны дорогие шубы, ежедневные вечерние выезды в ресторан, где можно смеяться, пить и танцевать, потому что дома всё убрала и постирала баба Зоня, и даже налепила на всю неделю для бедного Гобы вареников.

Сегодня я наконец-то начинаю шить для Прелести платье. Когда мы выходили с Гобой из его квартиры, в коридоре я случайно увидела на вешалке тот прожжённый сигаретой мамин шарф. Забрала его, не колеблясь, на прощание взглянув сквозь прожжённую дыру на закрытую дверь спальни.

Баба Зоня принесла мне два апельсина — сказала, от папы, оговорилась, конечно, ну потому что — от Гобы, а Гоба мне, как ни крути, никто. Но на улице серо и мрачно, а эти апельсины лежат на моей кровати, пахнут счастьем, я их ещё пока не ем, просто смотрю на них — и мне становится хорошо.

Баба Зоня возвращается из Гобиной квартиры — ездила убирать — и говорит, что мама устроила страшный скандал. Бегала и ругалась, будто бы баба Зоня украла какой-то там её шёлковый шарф. Я почувствовала нежность к бедной бабе Зоне и немного — свою вину, но ведь я на самом деле тоже не крада у мамы этот шарф. Я его не украла, потому что платье, которое я из него сошью, будет для Прелести, для куклы-мамы: ради того, чтобы и сама моя мама стала наконец счастливой. Потому что я придумала предвидение со счастливым концом для неё, для меня, для Гобы, для бабы, для всех. Чтобы всем было хорошо. Очень простое предвидение, кстати.

Платье для Прелести сначала шьётся косо-криво, очень трудно сшивать шёлк. Хорошо, что мамин шарфик достаточно длинный, хорошо, что я могу немного потренироваться. Я вдыхаю запах маминых духов — и вдруг хочу завывать от отчаяния, от страшной тоски по маме. Она всегда заставляла меня жить в соседней комнате, я никогда не жила с ней по-настоящему. Но впервые я настолько далеко от неё, что не слышу её голоса за стеной, её хриплого от дешёвого курева кашля ночью, пиццания эсэмэсок с её мобильного.

Шью платье для Прелести — и понимаю, что эта работа, хоть и ненадолго, возвращает мне всю мою маму — тёплую, настоящую и добрую. И ощущение моей руки в её руке, и запах молочной каши на кухне, и запах её кожаной сумки, о которую я, пока была маленькой, постоянно тёрлась носом, и что-то ещё, чего я на самом деле уже не помню, но уверена, что никогда не смогу забыть.

Катя, с тех пор как я перебралась к бабе Зоне, почти всегда лежит на моей кровати. Только сейчас я впервые думаю: а разве она Катя? Я же не знаю, как на самом деле зовут эту куклу. Катей была Ленкина Катя, а эта Катя была куклой Тани. Надо спросить у Гобы, как звали эту куклу, так будет правильно. Не удивлюсь, если окажется, что она — Маргарита или Инесса. Но если Гоба обидится? Или разозлится? Дочка Гобы, скорее всего, не сказала ему, как зовут эту куклу. Глупое дело — спрашивать. Гоба не знает.

Гоба с мамой приезжают в субботу, двадцать восьмого утром, без предупреждения — и застают меня с бабой Зоней и куклами врасплох. Катя — на кресле. А на кровати в ряд лежат все четыре сшитые мною куклы. Прелесть — без лица, зато с Катиными косами, которые я наконец-то хорошенько приладила к её набитой ватой голове, в платье из мамино шарфика и в Бабызониных серёжках (баба Зоня дала их для Прелести — с розовыми камушками, ещё и помогла хорошенько пришить), кукла-Гоба (или папа), кукла-баба и кукла-я — незаконченная, без волос и без одежды, потому что я решила, что сделаю самой маленькой кукле волосы из ниток, но таких ниток пока у меня нет. Кукла-я — в каком-то смысле самая лучшая, потому что я уже немного научилась их делать.

Баба Зоня — только что с кухни, от плиты, спрашивает, что случилось. Гоба говорит, ничего не случилось, но скоро первое сентября, поэтому они не просто так приехали, они приехали, чтобы забрать нас с бабой Зоней домой, ближе к школе. «Куда это ещё домой?» — переспрашивает баба Зоня. «К нам, к нам домой».

Мама снимает пальто — и я вижу, что на её руке, под рукавом платья, — большой синяк, почти полностью прикрытый тканью, я замечаю этот синяк только потому, что очень внимательно её рассматриваю. По маме уже заметно, что она много пьёт, у неё отёкшее лицо. И руки у неё теперь дрожат, если присмотреться. Мама подходит к кровати и по очереди берёт в руки каждую из моих кукол. Гоба хочет сесть на стул, но видит — там Катя. Он берёт в руки Танину куклу и смотрит, а потом начинает плакать. Баба Зоня подходит к Гобе очень близко, берёт за руку и долго-долго, тихо-тихо что-то ему говорит, а потом ещё какое-то время смотрит ему в глаза. Гоба встаёт и делает два шага ко мне, я съеживаюсь, потому что боюсь, что Гоба ударит, но он гладит меня по голове именно той рукой, где было ранение, и я понимаю, что плечо, которое мы вдвоём с ним «ремонтировали», уже почти не болит. «Это очень счастливый конец моей истории — самый счастливый из всех возможных,» — крутится у меня в голове. Гоба говорит бабе Зоне: «Ну, так мы подождём вас, Зоня, в машине, берите всё, что нужно, багажник большой», — а потом мне: «Ну что, доченька, собирайся, сейчас все поедem домой, но пакуй только одежду. А куклы твои пусть пока побудут здесь».

Мама наклоняется и берёт с кровати Прелесь: «Вот хорошая кукла. Давай мы её всё же возьмём».

Садимся в Гобину большую машину, он за рулём. Ехать, насколько я помню, далековато, — через полгорода, если не больше. Когда мы едем по мосту, мама просит Гобу открыть окно. Она с размаху бросает Прелесь, и та падает. Под колёса встречной машины.

2018 г.

Евгения Кононенко

Арчибальд и Патриция

Это был самый чёрный день моей жизни. Мы бросали родной дом и становились беженцами. Мы были последними, кто убегал из нашего городка. Мать долго надеялась, что станет лучше, но становилось всё хуже. В соседний восьмиквартирный дом, такой как наш, попала бомба. Брат терпеливо мне объяснял, как сработал взрывной механизм, но я его не слушала, я думала о другом.

— Полезайте в грузовик, я подброшу вас до станции. В шесть часов будет поезд. Сейчас сажают без билетов. Доедете до мест, где не стреляют, — сказал дядька Нил, член местной самообороны. — Я еду сегодня. Завтра же вам пешком придётся переться на станцию. А может завтра сюда уже придут они.

«Придут они» — это самое страшное. Откладывать наше бегство никак нельзя. То, что мы берём с собой, давно уже собрано. Но... но здесь мы оставляем тех, кого взять не можем, и это самое мучительное. Вот почему этот день — чернейший день моей жизни.

Мы с матерью и братом, все трое с рюкзаками на плечах, сидим в кузове переполненного разным барахлом грузовика, крепко прижавшись друг к другу. Мы несёмся на станцию. А за грузовиком что есть духу летит наш Арчи. Никогда не представляла себе, что он может так быстро бежать. Он летит не как пёс дворянской породы, а как настоящая гончая. Он не понимает, как это так: все уезжают, а его не взяли.

Грузовик летит на станцию на хорошей скорости, однако Арчи не отстаёт. Я плачу, я кричу ему:

— Арчи, мы не можем взять тебя с собой! Прости нас! Нас не посадят на поезд с тобой!

И брат на этот раз не говорит мне, что я глупа со своими бабскими слезами. Ведь и он, взрослый парень, тоже может расплакаться. И поэтому он молчит, когда я кричу нашему пёсику:

— Арчи, милый, мы скоро вернёмся! Это всё скоро закончится!
Арчи, милый!

А брат молчит и отворачивает голову, чтобы не смотреть на Арчи. У него на руках наша Патриция. Наша пушистая чёрно-бело-рыжая Пати. Но Пати не хочет никуда ехать. Она вырывается и громко мяучет. И брат пытается успокоить нашу пышную красавицу, которую крошечной подарили мне, когда я шла в первый класс.

Наши Арчи и Пати отчаянно протестуют против того, что происходит сейчас на этом свете. Но никто не обращает внимания на их кото-собачью акцию протеста. Дядька Нил гонит грузовик. Мать громко вычитывает «Отче наш», перекрикивая свист ветра за бортом грузовика. Я плачу и что-то кричу Арчи. Брат борется и со слезами, и с Пати, вырывающейся от него что есть мочи. А вдали снова началась стрельба. Но с противоположной стороны нас уже приветствует спасительный гул железнодорожной станции.

Арчи отстал. Нашему белому синеглазому псу с рыжими ушами не хватило сил. Он очень долго бежал и, обессиленный, больше не смог, стал отставать. Мать перекрестилась, и я поняла, почему: не пускать Арчи в поезд было бы совсем невыносимо. И тут вдруг Пати больно оцарапала брата, он аж вскрикнул от неожиданности, и спрыгнула на повороте с грузовика, тут же исчезнув в придорожных сорняках. Её пушистый трёхцветный хвост махнул в кустах на прощанье. Брат же стал раздражённо искать влажную салфетку и пластырь, чтобы залепить царапины, которые Пати оставила на его щеке.

Мы успели на тот поезд, и для нас троих нашлась одна нижняя полка. Наверху над нами лежала девушка лет восемнадцати с

крошечным щенком, который тихо скулил всю дорогу и разрешал себя погладить. Мы с братом периодически поднимались и проделывали это, но у нас не было сил спросить у девушки, как зовут её маленького спутника. Мы ни с кем не могли говорить про Арчи и Пати. Даже с той милой девушкой.

Без приключений мы добрались до мест, где не стреляют. А перезимовали в большом красивом городе, гораздо лучше, чем наш посёлок. Нам посчастливилось найти сносное жильё. Мы с братом ходили в школу. Мать нашла временную работу. К нам даже дважды приезжал наш отец в камуфляже, в высоких сапогах. Они с братом вели мужские разговоры про типы взрывчатки и про беспилотники, мы с матерью накрывали на стол.

А потом нашлась подработка и для нас с братом. Три раза в неделю мы на несколько часов ходили в одну семью, где были кот и собака, которые не могли оставаться в доме одни, когда хозяева уходили на работу. Пока брат гулял с хозяйским ротвейлером, я сидела с гладким велюровым британцем и рассказывала ему про Арчи и Пати. Хозяева были довольны тем, как мы заботимся об их любимцах, а мы заработали немного денег.

К весне мы вернулись домой. И опять-таки, всё выглядело не так уж и плохо. Наш дом не высадили на воздух. В нашей квартире разве что окна выбило. Да, было похоже, что «они» бывали в нашем доме. Но у нас нечего было взять, так что «они» ушли ни с чем.

— Хорошо, что не забрали сантехнику, — сказала мать, — а то у соседей вывинтили. А у нас стоит.

По нашему посёлку ездил грузовик со стёклами для окон, которые вставляли мгновенно. Это делал тот самый дядька Нил,

разъезжавший на том самом грузовике, который отвозил нас тогда на станцию.

Пати мы не нашли. Наверняка её не было в мире живых. Она была домашняя киса, которая не выходила на улицу. То место, где она спрыгнула с грузовика, было слишком далеко от нашего дома... Даже если бы мы оставили её в доме, она вряд ли дождалась бы нас.

Я стараюсь не думать про последние часы моей пушистой Пати, которая так много ночей спала у меня в ногах. Но я невольно думаю об этом. Мне кажется, что это я сижу в колючем кустарнике у дороги и не понимаю, где моё кресло в гостиной, где моё блюдечко в кухне, где моя лежанка в спальне.

А наш Арчи выжил. Кто подкармливал его в ту зиму? Возможно, «они» бросали ему свои объедки?

Но Арчи не простил нас и не вернулся в наш дом. Он стал бродячим псом, который иногда приходил в наш двор, но потом уходил в другой. Он бродит по нашей улице, бродит около школы и серебряного солдата с автоматом, героя давней, теперь уже совсем ирреальной войны. Мать говорит, чтобы мы не подходили к нему. Потому что белый хвост Арчи, которым он всегда так весело приветствовал нас, теперь намертво залип между его задних ног. Так что, по мнению матери, Арчи сбесился. Если покусает – будет плохо.

Но Арчи сам не подходит к нам. Мы с братом выносим ему еду, ставим в жестянке возле мусорного бака. Если он рядом, то подходит и начинает есть. Но если мы пробуем приблизиться к нему, почему-то убегает, даже не доев.

Я надеюсь, что он простит нас, хотя это, наверное, невозможно. Невозможно, чтобы Арчи когда-нибудь подбежал ко мне, положил лапы на плечи, как это было раньше. А я бы заглянула в

его синие глаза, потому что у нашего Арчи глаза синие-синие, правда! И я сяду на траву за домом, а он положит голову мне на колени и расскажет, что́ он пережил в ту зиму.

И я пойму твой собачий язык, Арчи!

2017 г.

Евгения Кононенко

Встреча на Площади Часов

(C'est la guerre)

— А не слишком ли хорошо живут украинские беженцы во Франции?

Бодрый голос и русская речь выбили её из французской меланхолии. Она сидела за столиком с чашечкой остывшего кофе и смотрела на часы в центре небольшой круглой площади, так и называвшейся: Place de l'Horloge, Площадь Часов, Площадь Дзыгаря. Вокруг неё за другими столиками сидели французы, прихлёбывали кофе с круассанами или булочками с шоколадом, громко смеялись. Для французов апофеоз жизни — это вкушать пищу под открытым небом. Войны у них давно не было... Но когда-то было и у них:

Paris a froid a faim
Paris ne mange plus de marrons dans le rue
Paris a mis les vieux vêtements de vieille...

Париж мёрзнет Париж голодает
Париж не ест на улице каштаны
Париж оделся в лохмотья старухи...

Она меланхолически вспоминала свой первый приезд во Францию в начале 90-х. Это было нереально давно и недостижимо далеко, хотя отсюда до Парижа менее трёх часов езды. Ей тогда нравилось, что в парижских кофейнях много одноместных столиков. Она усаживалась именно за такие, и её в те времена переполняло чувство, более значимое, чем счастье. Именно оно вспомнилось ей в кондитерской на Пляс де л'Орлёж, где сейчас её одолевали совсем другие чувства. И одноместных столиков, к которым никто не подсядет, в кофейнях этого, милого, в сущности, городка, нет. Едва лишь она об этом подумала, как услышала:

— А не слишком ли хорошо живут украинские беженцы во Франции?

Напротив неё плюхнулся на стул её московский троюродный братец Иван — собственной персоной. Как русский снег на голову посреди французского лета. Он сжал её руку на столе. Она её спокойно высвободила.

— Ну чего ты, — несмело заговорил он, пока она молча глядела на него, — тебя не удивляет, откуда я здесь взялся?

— После 24-го февраля этого года меня уже ничто не удивляет.

Оба неловко замолчали. Наконец он заговорил.

— Как ты здесь устроилась? Это правда, что вам всем здесь так хорошо, что никто и не хочет домой?

— Кто тебе такое сказал? Ваш телевизор?

— Тогда расскажи мне, как на самом деле живут украинские беженцы во Франции. Опровергни российский телевизор!

— У всех всё по-разному. Меня, например, приютила русская женщина.

— Русская? Странно. Россиянам сейчас во Франции самим не очень хорошо, по себе чувствую.

— Она гражданка Франции. Замужем за французом, дети подростки. Она из тех, кто посыпает голову пеплом за грехи России перед Украиной.

— То есть приняла украинский взгляд на конфликт?

— Более того. Она слишком идеализирует украинцев. Мне даже неловко.

— А вот я однозначно против войны, но не могу так же однозначно принять украинскую сторону.

— Это твоя проблема. И точно не проблема Украины.

Разговор не получится, будем только перекрикивать друг друга. Она поднялась, а Иван схватил её руку, удержал её, заглянул в глаза, и она увидела в его глазах настоящую боль.

— Вижу, ты искренне страдаешь из-за того, что я не воспринимаю Рашу как Святую Русь. Но ничем не могу тебе помочь.

— Подожди! Я здесь не просто так, я искал тебя — может быть, мы сумеем объяснить друг другу что-то важное! Ты же сама сказала, что хотела бы поговорить с нами вживую. Ещё когда мы позвонили тебе в начале войны, когда ты ещё была в Киеве!

Она действительно хотела этого, хотя и боялась деструктивного разговора, который только усилит конфликт — её внутренний конфликт. Но какая-то часть её естества отказывалась верить, что «русский мир» вошел в Ивана на уровне церебральных изменений. Ей, несмотря ни на что, хотелось вызвать из небытия того Ивана, которого она знала когда-то давно. Ведь у них с Иваном и Марией столько было разговоров обо всём на свете! О свободе и несвободе. О правде и лжи. О жизни и смерти. Дело не только в тематике тех разговоров, но и в их стилистике. Они не боялись острых тем. Они не меняли темы, когда разногласия достигали невыносимой остроты. Они оставались в пространстве до конца договорённых фраз и до конца додуманных мыслей. Но это было давно. Ещё до Развала⁶, и в первые годы после. И всё равно — энергия тех разговоров, как порой кажется, бурлит и до сих пор. Но почему теперь эта энергия превращается чёрт знает во что?

⁶ Распада СССР.

Она снова села за столик. В конце концов, Бенуа с Ларой должны были заехать за ней именно сюда.

— Когда-то мы были не дальние родственники, а близкие друзья. Мы говорили буквально обо всём на свете, и это было так хорошо! Неужели добрые человеческие отношения не остаются ценностью в этом сумасшедшем мире? Почему давняя дружба не останавливает войны? — прокричал Иван.

— Вопрос надо ставить иначе: можно ли сохранить давнюю дружбу, когда идёт война, а друзья по разные стороны от линии фронта?

— Вот видишь, ты можешь спокойно формулировать мысли. А я не могу не кричать.

— В давние времена мы общались без крика. Эмоции неинтересны. Ты слышишь? Не-ин-те-рес-ны! Интересны только мысли. Давай так — если ты хочешь этого разговора, то отказываешься от имперской категоричности. В те времена её у тебя не было, она появилась позже.

— А ты отказываешься от националистической ограниченности.

— Неужели я разговаривала бы с тобой, если б была националистически ограниченной?

— Значит, ограничения вводятся только для меня?

— Хорошо, вводим ограничения для нас обоих, хотя в условиях российско-украинской войны справедлива положительная дискриминация в отношении украинской стороны. Мы оба сдерживаем эмоции и предлагаем для обсуждения только мысли.

— Или информацию интересного содержания, не обязательно высокоинтеллектуальную. Так вот, рассказываю, как

я тебя нашел. Мы с Машкой были в этом городке раньше. Здесь, за углом, есть мини-отель. Я и сейчас там снял комнатку.

— И Мария с тобой?

— Она осталась в Изере.

Она знала, что у Ивана с Марией был лыжный бизнес в Изере. Или он есть до сих пор?

— Сейчас вроде не сезон.

— Мы закрываемся. Приехали уладить дела.

— Из-за войны?

— Не только. — махнул рукой Иван, — общее падение интереса к лыжам.

— Я что-то подобное слышала и от знакомых французов. Бывшие лыжники находят себе другие зимние развлечения.

— Да, ничто не стоит на месте! Мы с тобой встретились на площади, посреди которой часы. Я не раз приходил под эти часы. Увидел их на твоей странице, — он провёл пальцем по экрану смартфона, протянул ей её же фото, сделанное несколько недель назад, — ты же не будешь говорить, будто не делала этого снимка?

— Не буду.

Она очень редко выносила на публику что-либо связанное с пребыванием во Франции. Но однажды эта площадь и это кафе привели её в состояние, когда захотелось поделиться с миром тем, что было перед глазами. Она сделала фотографию и вывесила её на всеобщее обозрение, как, бывало, публиковала снимки из своих довоенных путешествий.

— Как называется это место?

— Пляс де л'Орлёж.

— То есть?

— Площадь Часов. Или площадь Дзыгаря.

— Дзыгая? Вечно вы выдумаете какие-то такие слова, чтобы никто ничего не понял! — стукнул кулаком по столу Иван.

— А слово «годынник»⁷ тебе понятно?

— Всё-таки славянизм. Есть и похожее наше слово — «година». Нелёгкая година...

— Из-за непривычного для тебя слова «дзыгарь» — сразу такая агрессия! Типичная российская имперская реакция.

— Ну извини, извини. Пусть будет «дзыгай».

— Дзыгарь.

— Пусть даже и дзыгарь. Но время идёт! Реальность меняется!

— Иногда непредсказуемо.

— Ты говорила, не надо эмоций, только мысли. А думать об эмоциях можно?

— Думаю, что можно.

— Тогда такой вопрос. Тебе не больно от нашего разрыва?

— Мне больно от того, что оккупирован городок на Азове, где мы бывали у моей подруги — она не смогла уехать, и с ней нет связи. Мне больно от того, что погиб муж моей молодой коллеги. Война становится конкретной, когда убиты или ранены те, кого хорошо знал лично.

— Я понимаю, что ты сейчас можешь зачитать мне длинный список обвинений. Я вместе с тобой очень переживаю за всех этих людей. И мёртвых, и живых. Мёртвые пусть обретут покой,

⁷ Часы (укр.).

больные выздоровеют, бездомные найдут дом. И пусть как можно скорее закончится война. Более того, пусть она закончится на ваших условиях.

— Твои слова — да российскому Богу в уши. Если таковой есть.

— Может быть, такого и нет. Но Бог есть в моей душе! Я ещё в самом начале предлагал тебе деньги. Я предлагал тебе репарации ещё до всех разрушений.

Действительно предлагал. Она ощутила странную гордость, что её материальное положение позволило ей не взять те деньги от Ивана и Марии.

— Итак, наш разрыв...

— ... наше отдаление, если быть точным...

— Ладно, наше отдаление для меня больнее, чем для тебя. Это всё из-за травм этой войны, я понимаю. Можно ещё вопрос?

— Да. Спокойно и взвешенно можно спрашивать обо всём.

— Ладно, спрашиваю. Ты тогда приезжала в проклятую-растреклятую Москву и тебе это было в кайф! И по театрам носилась, и по выставкам! Или будешь говорить, что этого не было?

— Честно признаю, что Москва нашей молодости была намного интереснее тогдашнего Киева.

— А я признаю, что тогда, в те времена, в те давние времена, когда мы говорили обо всём на свете, среди наших московских друзей у нас не было таких классных собеседников как ты!

— Спасибо, Иван.

— Мы до сих пор тебе благодарны за те твои приезды... но тогда мы говорили о чём угодно, только не об Украине и России! Твоя Украина тебя тогда не очень-то интересовала, правда?

— Украина меня интересовала и тогда. Мы говорили о многом, но не обо всём на свете. Например, у меня в Киеве тогда была очень содержательная личная жизнь, но я её с вами не обсуждала.

— Да, но ведь мы много говорили и об отношениях женщины и мужчины, и о разных типах семей! Мы с Машкой, кстати, гадали, есть ли у тебя кто-нибудь. Машка тогда сказала, что ты настолько классная, что, если у тебя никого нет, то это твой выбор. А если кто-то есть, то это твоё дело.

В их диалоге ожили интонации давних времен, когда они могли сказать друг другу что угодно, и никто не обижался.

— Ты тоже тогда не произносил слово «Россия» с придыханием дешёвого актёра!

— А сейчас я так произношу? — рассмеялся Иван и надолго замолчал. Нить разговора была снова утеряна. Для продолжения он ухватился за её недавнюю фразу:

— Итак, ты сама только что сказала, что Киев в те времена был значительно менее интересен, чем Москва.

— Но это изменилось! Время же не стоит на месте, — она показала на часы посреди площади, — Ты хотел бы, чтобы Киев так и оставался провинциальным? И чтобы всё интересное происходило только в Москве и Питере, как при СССР?

— О Господи, ничего я такого не хотел! — снова застонал Иван.

— Ты обещал без надрыва.

— Ладно, извини. Но согласишься, ваш патриотизм изрядно усиливала ваша пропаганда. Вы все изменились со времен позднего СССР. Я же не только с тобой общаюсь из ваших.

— Согласна. Но наш патриотизм звучит на совсем других регистрах, чем ваш: рядом Россия, она намного сильнее нас, но мы всё равно существуем, мы не такие, как вы, и наша самобытность не должна исчезнуть.

— Это не так! И вас, и нас натравливали друг на друга, ссорили братские народы.

— Братские?

— Ты хочешь сказать, что наши деды не братья?

— А ты хочешь сказать, что наш прадед не из Украины? Не предал ли свою землю его старший сын, который уехал в Москву в первые годы советской власти?

— Господи, тогда была единая страна! Ехать в столицу — это естественный путь талантливых людей. Это лучше, чем война.

— Мы снова срываемся на эмоции, Иван!

У Ивана зазвенел смартфон. Он взглянул на экран, поспешно поднёс аппарат к уху, прокричал «Да! Встретил! Перезвоню потом!», и отключил связь. Некоторое время сидел молча, поспешно просматривая новостные каналы. Она тоже начала листать украинские новости на своем смартфоне. Оба не спешили нарушить молчание, время от времени поглядывая друг на друга. Наконец он заговорил:

— Машка передаёт тебе привет.

— И ты ей передавай.

— Я звал её сюда. Она сказала, что не сможет смотреть тебе в глаза.

Они снова помолчали.

— Обстрелян торговый центр в Кременчуге, — наконец произнес он.

— Я в курсе, — ответила она, — смотрела новости утром.

Именно из Кременчуга был родом их общий прадед. Он давно умер. Его дети, двое из которых со временем стали их дедами, все до одного уехали из родительского дома в большие города.

— В какой ужасный день мы встретились... Ты бывала когда-нибудь в Кременчуге?

— Нет. И если бы побывала, не нашла бы того места, где стоял дом нашего прадеда. Он остался только на дореволюционной фотографии. На той, что есть у нас с тобой. Но если бы сегодня ударили не по Кременчугу, а по другому городу Украины, что бы это изменило?

В её до недавнего времени спокойном голосе прозвучал всхлип.

— Новости выбивают из колеи. И меня тоже, не только тебя. А Машка, та вообще плачет каждый раз после харьковских новостей. Ты же знаешь, её мать из Харькова.

— Кстати, такое эмоциональное переживание новостей началось ещё до войны.

— С Майдана.

— С Крыма, Иван, с Крыма!

Теперь на крик сорвалась она, заметив, что Иван изо всех сил старается вернуться к спокойному разговору и элегическим воспоминаниям.

— Ты помнишь новости нашего отрочества, нашей юности? Война во Вьетнаме, путч в Чили, палки и мотыги в Камбодже... Для нас это была информация из далеких краёв, а для кого-то — жизнь, как сегодня для нас эта война, на которую так спокойно реагируют французы.

— Для меня эмоциональное переживание новостей началось с Перестройки. Помнишь путч, но не в Чили, а в Москве? Как я завидовала вам с Машкой, что вы там, а я так далеко от главного события мира! Я пыталась, но не смогла тогда взять билет в Москву.

— Именно после тех событий вы отделились, и с тех пор становились всё дальше и дальше.

— Зато в Париж стали пускать, — вздохнула с лёгкой улыбкой она.

— И ты перестала ездить к нам, когда вас стали пускать в Париж.

— И вас тоже стали пускать. И вы тоже стали ездить. И вам тоже понравилось. И тоже были рады оставить точные науки, заняться бизнесом. Как и я была рада сменить те самые точные науки на свои новые гуманитарные занятия. Но вам Лазурного берега было мало. Вам ещё понадобилось эксклюзивное право на Крым!

— Как легко теперь перемешиваются эпохи, — он опять попытался перейти к мирному общению, — Да, Крым вернулся в родную гавань аж через четверть века после развала Союза. Но до этого было столько событий, столько дорог, столько путешествий — и знаешь, из всего, что мы увидели в те годы, на меня самое большое впечатление произвёл не Париж, а Рим.

— Иван, я не про Рим, а про Крым!

— Что — «Крым»?! — беспомощно простонал Иван, — я же не мог этому помешать! Ты сама говорила, что перекраивание границ — вечный спутник исторических событий. Я не могу остановить войну, и я не мог оставить вам Крым. Я только понимаю, что это событие — неоднозначное. Для кого-то замечательное, для кого-то ужасное.

— Ужасным было не само событие, а ваша паскудная радость! Или ты скажешь, что её не было?

— Была. Но разве я не сказал тебе тогда: приезжай в российский Крым так же, как я ездил в украинский.

— Спасибо, он мне разрешил! Без него не разберусь, куда мне ехать, а куда нет.

— Не надо, не надо. Я не раз просил у тебя прощения, что не сдержался тогда. Что я должен сделать, чтобы ты не вспоминала про Крым?

— Ты ничего уже не сделаешь. Это смертный грех, Иван. «Крымнаш» — это ваш смертный грех до конца жизни.

— Так уж тебе нужен был тот Крым? У тебя столько друзей во Франции, которые тебя принимали, и не раз, на Средиземноморье. Я же видел твои фотки.

— А вы тем временем с Машкой ездили в Крым. Уже после той похабной аннексии. Вам крышу сносило от восторга, что ваше государство такое сильное, что может запросто делать незаконные вещи.

— Незаконные, но справедливые. Крым-таки русский! Там и Пушкин жил, и Лев Толстой, и Сергеев-Ценский, и Бирюков...

— ... и именно в Крыму Леся Украинка познакомилась с Сергеем Мержинским.

Такого поворота Иван не ожидал. Упоминание о национальной поэтессе, символе украинской поэзии, имевшей, оказывается, какое-то отношение к Крыму, возмутило его настолько, что он окончательно потерял контроль над собой. Тем более, что его мудрая уравновешенная украинская собеседница явно была близка к истерике. Иван уже и не старался взять себя в руки:

— В Крыму? Леся Украинка? Врёшь! Они с этим, как его, Мужинским познакомились во Львове, западенцы несчастные! Во Львове, ты слышишь? При чём здесь российский Крым?

И Иван упал лбом на столик, и изо всех сил застучал по нему кулаками.

Именно в этот момент к ним подошёл Бенуа. Они с Ларой уже давно подъехали на Пляс де л'Орлёж, знаками звали её к себе, но она их не замечала. Бенуа поклонился Ивану.

— Это мой троюродный брат из России, — произнесла она, вставая и указывая на Ивана, который размазывал лицом по столу лужи холодного кофе. Ей хотелось головой Ивана пробить дырку в пластиковом столике, и ту голову туда запихнуть!.. Пусть это и не повлияло бы на ход российско-украинской войны.

— Он с нами не едет? — спросил Бенуа.

— Пойдём отсюда. Прости меня, я вас не заметила.

— Мы с Ларой всё поняли. Это война. *C'est la guerre.*

— Я могу вынести всё, только не Крым — от этого я зверею... *C'est plus fort que moi*⁸...

⁸ Это сильнее меня (франц.).

А Иван тем временем громко выл:

— Вырись! Крым ей подавай! Вырись! Вырись! Вырись
поганая!

Февраль 2023 г.

Мария Матиос

ЦВЕТОЧНИЦА

От автора (2 января, 2023 г., Карпаты):

Я листаю в айфоне заметки, начатые мной 24/02/22 в Киеве, и представляющие собой своеобразный дневник — порой очень подробный, порой излишне спрессованный, с оборванными, чуть ли не стенографически записанными словами, — неразборчивыми, а иногда и вовсе не поддающимися расшифровке, потому что писались они в невероятной спешке. Читаю я эти заметки и раз за разом делаю паузу, чтобы накапать в чашку успокоительное: мои нервы не выдерживают воспоминаний.

Я могла бы хоть сейчас обнародовать все те первые страхи, парализующую тело панику, запредельную ярость, непристойные проклятия и неслыханную ненависть и жажду мести — всё, что гнездились тогда во мне и в семи живых душах, что я приютила в своём доме у самого Днепра, над которым, как вороны, летали ракеты, каждый раз втискивая кого в условно защищенное пространство между двух несущих стен, кого — в эмаль ванны, а нас с внучкой — в холодную плитку крошечного домашнего бассейна. Могла бы обнародовать и предъявить миру всё это без цензуры и без редактуры. Всё — кроме своих слёз: слёз в те самые грозные для украинской столицы недели, у меня не было ни разу. Было заламывание рук. Трёхдневное — абсолютное — отвращение к еде и питью. Только несколько глотков воды после того, как невестка пообещала меня связать, если я не съем хотя бы две-три ложки чего-нибудь. Был приступ деспотизма и неоправданной муштры по отношению к спасающимся в моём доме людям, страх за безопасность которых превосходил даже нормы приличия, на что мне тогда было наплевать. А слёз не было. Не знаю, куда они у меня, такой всегда тонкослёзой, подевались... может, железы, отвечающие за слёзы, перестали функционировать от невиданного стресса или просто

атрофировались... а может, эта гиперответственность за семерых родных и близких мне людей лишила меня способности плакать — от отчаяния, от неизвестности и осознания прямой опасности для меня лично (в чём я убедилась значительно позже).

Но сейчас, десять месяцев спустя, когда в моей стране, для моих соотечественников, в режиме нон-стоп ежедневно множатся трагедия за трагедией, и эти трагедии никоим образом не соизмеримы с моими тогдашними страхами или с историей нашей почти принудительной — собраться за сорок минут! — эвакуации из Киева, когда расстояние всего лишь в 600 км от столицы мы преодолевали трое суток — сейчас мне совестно выносить на люди записанное в те горячечные дни.

Но именно сейчас, когда невозможно измерить то — никем не прогнозируемое и непредсказуемое — геройство и фантастическую изобретательность миллионов людей, именно сейчас меня не покидает неотступная мысль, что всё это я уже когда-то пережила... и что я точно знаю: извечный наш северный сосед не изменился ни на йоту с тех пор, как уже приходил на нашу землю в роли «освободителя».

Да, то, что я переживаю сейчас физически, я пережила уже много раз мысленно, эмоционально, слушая старых баб и дедов, своих земляков, очень долго — ой, долго! — не желавших «загружать» сознание детей и внуков теми ужасами, через которые им пришлось пройти в свое время. Те семейные истории впоследствии стали историями моих книг. На фоне нынешней жестокой, чёрной войны память о давних событиях звучит для меня рефреном и не перестаёт болеть. Вот почему свои заметки о непосредственных переживаниях нынешней войны я пока оставляю в айфоне, на потом. А для этого сборника предлагаю рассказ — отрывок из моего романа-панорамы «Букова земля», который напомнит о событиях, когда такие же «освободители», с тем же «почерком» уже приходили в Украину.

ЦВЕТОЧНИЦА
из романа-панорамы БУКОВА ЗЕМЛЯ

ГАФИЯ БЕРЕГИВЧУК (1893 г.р.)
СССР. БУКОВИНА. СЕЛО ЧЕРЕМОШНОЕ ВОЗЛЕ ВЫЖНИЦЫ.
18 ИЮНЯ 1941 г.

...На дороге фыркает и резко тормозит авто, а затем нервно скрипит калитка. Что-то новое. Ничего хорошего эти твёрдые и уверенные шаги на тропинке не предвещают. Даже оборачиваться не хочется. Время такое — не знаешь, кого, что и откуда ждать. Лучше делать вид, что тебе это не интересно. Вон, с пятницы на субботу, среди ночи посадили на грузовики толпу народа из села, со стариками да детьми, — и куда тот народ делся? Никто не говорил — потому что никто и не спрашивал. Страшно спрашивать. Не страшно пока разве только трубку курить у себя дома. А всё остальное — чем дальше, тем страшнее.

— Куришь, Гафия?

— И вам доброго здоровья! — приветствием она останавливает приземистого мужчину в военной форме, подходящего к ней слишком близко, и сразу начинает наощупь снова завязывать платок: так легче сдерживать предательскую дрожь в руках.

В селе его кличут «энкаведистом». Этой весной принесло сюда. А как фамилия? Леший его знает. Энкаведист, и точка. Тот, кто всё и обо всех знает. И даже то, чего каждый о себе не знает. Наверное, знает и о Гафии.

— Курю, господин энкаведист, пока курится.

— Здравствуй, Береговчучка! *Не умничай. Са-бирайся побыстрее и иди садись в машину. Да ва-зьми тятку и побольше цветочной рассады. Будем наводить красоту. Даю тебе двенадцать минут.*⁹

— А почему не тринадцать? — смелеет она голосом и идёт в дом.

За словом в карман не лезла. Любого Гафия могла срезать так, что только держись! Но время теперь такое — не очень-то и срежешь, сам пораниться можешь. Ну так и что же — только терпеть и бояться?! Сейчас подержит руки минуту-другую в холодной воде, страх немного угомонится, и можно идти в огород за рассадой.

Жаль, что она в праздничной одежде. Зачем энкаведисту её цветы? Возле сельсовета ещё с весны посадила, возле школы в три ряда ткнула. Второй год велят задаром цветы сажать — то возле почты, то возле магазина. Но машину за ней никогда не присылали. Машину в Черемошном не каждую неделю увидишь. Может этот энкаведист на базар её хочет отвезти, потому что слышал, что Гафия каждую неделю туда, в Выжницу, пешком ходит?

...Привезли Гафию к выжницкой тюрьме. Может, она у энкаведистов называлась как-то иначе, но люди называли тюрьмой.

⁹ Слова, выделенные курсивом, произносятся персонажами рассказа на русском языке – прим. переводчика.

После прихода советов дом у дороги из Берегомета на Куты, в котором при румынах был публичный дом (Гафия хорошо помнит два красных фонаря на его стенах), переделали то ли в москальскую управу, то ли в тюрьму. Теперь же со стены, где когда-то мигал красный свет борделя, свисало красное полотнище, изрядно потрёпанное дождём и ветром. Окна, из которых на Гафииной памяти, не боясь осуждения или того, что будут узнанными, высывались бесстыжие девицы в ярких платьях с такими вырезами, что сиськи из них вываливались, теперь были зарешёчены, а при входе в дом стоял, вытянувшись, вооружённый вояка.

Солдат встрепенулся, увидев начальника, который вёл перед собой Гафию с двумя большими корзинами рассады, вытянулся ещё больше, будто его ударило молнией, приложил правую ладонь к виску — и открыл перед ними дверь.

Длинный коридор дохнул такой затхлостью и зловонным смрадом, что её чуть не стошнило.

Энкаведист ускорил шаг, тоже шмыгнув носом.

— *Двигайся, Гафия, двигайся!*

Понять его язык — не очень-то поняла, но засеменила быстрее, едва не наступая на сапоги приземистого.

Комната, в которую тот привел её, походила на застенок. Маленькое окно под потолком с чёрным стеклом. Грязные щербатые стены. Пол в густых бурых пятнах. Под потолком — два ржавых крюка и длинная, как для висельника, кручёная верёвка.

— *Подожди.*

Приземистый вышел, зачем-то перевернув бумажку на столе, ещё и прижал её кулаком.

Вот тут ей, наверное, и крышка. От страха забурчало в животе. Гафия присела на краешек стула посреди комнаты, пытаюсь сдержать икоту. Стул был прикручен к полу. С разодранной или вырванной по краям обивкой.

Сидела на краешке — и смотрела то на кошёлки с рассадой, то на окно под потолком, то на дверь. Мысли начисто покинули её. Слышала только стук крови под самым горлом: «Да чтоб тебя!

Чего мне так трястись? Пусть боится тот, у кого есть причины бояться...» — мысленно уговаривала себя, но это не помогало.

Страх не проходил.

За окном рычал пёс, потом захаркал мотор машины.

Из коридора донёсся короткий женский выкрик, похожий на внезапный вой. И тут же всё стихло.

Чей-то мужской голос грубо выругался, а затем громко стукнула дверь, чуть ли не за соседней стенкой.

Гафия сидела, как припечатанная, сжав перед собой в замок пальцы до посинения, и раз за разом повторяла «отченаш». Сбивалась, как только из коридора доносились новые голоса или звуки, тогда начинала заново, снова сбивалась — и так до тех пор, пока в дверях не возник приземистый, а из-за его спины не вышел такой же нескладно-корявый, только несколько выше ростом.

— *Пашли, цвето-о-очница* — засмеялся этот второй, забирая кош с рассадой, — *И не бойся. Мы хороших людей не трогаем. Тем более, таких нарядных женщин.*

Он пошёл вперед.

Гафия со вторым кошом семенила сзади.

На пятки наступал энкаведист из Черемошного.

В конце пустого и внезапно онемевшего коридора почти бесшумно распахнулись две половины железной двери — и все трое вышли в глухой тюремный дворик, обнесённый высоким железным забором со скрученной над ним проволокой по всему периметру. В ноздри ударила вонь застоявшейся человеческой мочи, перемешанная с ещё каким-то резким, сладковато-приторным запахом.

Гафию вырвало прямо на глазах у мужчин.

— *Ну, что ты, Береговчучка...* — почти ласково упрекнул приземистый, вытаскивая из кармана носовой платок и подавая побледневшей Гафии, — *Это же обыкновенная человеческая кровь. Человек приходит в крови и уходит тоже в крови.*

Она рыгала под стеной забора, не слыша и не слушая, аж глаза вылезали из орбит и горькая желчь, казалось, разливалась по

всему телу. Утиралась рукавом сорочки-вышиванки, но её снова и снова выворачивало до самых кишок.

Когда вернулась назад — тот, что был выше, подал стакан с водой. Гафия даже не заметила, что он отлучался.

— *На, пей вадички, цвето-о-очница.*

Отпила глоток — и отдала, не дыша.

— Чего вытаращилась? — неожиданно на человеческом языке! — заговорил приземистый — Бери вон там грабли или тяпку, ровняй землю и делай грядки с цветами. И бегом! И чтоб красиво. Чтобы как дома.

С тем оба развернулись и за ними беззвучно закрылись железные двери на две половины.

Думалось Гафии, что оттуда она не выйдет никогда.

Слёзы капали из глаз, а она утиралась своим лучшим платком — в жёлтые, бурячковые и всякие цветы, — и опять плакала: заравнивала вытопанную, будто табуном конских копыт, тюремную землю, разбивала на грядки, ровняла проход между ними — и опять плакала: в отдельных местах, казалось, земля шевелилась — красная, словно политая свежей краской. Это была живая кровь, местами ещё не совсем загустевшая, а местами — с большими сгустками в белых и чёрных прожилках.

Её снова рвало, она прикапывала рвоту тяпкой и опять плакала. А когда под самой стеной из-под тяпки выскочил маленький — с детский кулачок — свёрток материи, весь в запекшейся крови, Гафия обмякла. Догадалась, что это.

В лоскут ткани, неровно отодранный, наверное, от женской блузки или рубашки, был завёрнут выкидыш. Беглое, нерождённое существо. Крошечный кусочек человека, который, наверное, от страха вытек из материнского лона в тюремном дворе и смешался с кровью других — живых ещё — людей, которые так же, как и он, страдали на этой огороженной земле, терпели муки и издевательства.

Гафия сквозь слёзы разглядывала зародыш человека, величиной с два мизинца, — и уже ничем не брезговала. Только скулила, как смертельно раненый зверь, так, будто этот почерневший сгусток,

на котором, как ей показалось, можно было разглядеть миниатюрную человеческую головку, выпал из неё, из её пустого лона.

Закапывала чьё-то нерождённое дитя глубоко-глубоко — и снова читала молитвы. Все, которые знала или знала наполовину. К месту и не к месту, утренние и вечерние, праздничные и на будний день, покаянные и величальные. И благодарила Бога за то, что смогла сделать последнее: похоронить хоть и не рождённого, не названного, но человека, из живой крови и плоти, человека, который ещё до рождения испытал муки и страдания вместе со своей мамой. Сверху обкладывала невидимую могилку мелкими камешками и сучками дерева, присыпала чистой — бескровной — землёй, а напоследок — воткнула мизинный крестик из сучков и украсила бархатцами. Пусть покоится с Богом. Потому что ей не узнать, где покоится или упокоится его мама, и поставит ли кто крест у неё в головах.

И дальше люто продолжала делать грядки.

Овальные и круглые, прямоугольные и квадратные, с бороздками и бугорками, уступами и зигзагами. Делала со всем жаром, как только она одна умела работать. До сего дня Гафия любила всякую землю, какая бы ни была она каменистая, твёрдая или неподатливая. Любила возделывать её не только тяпкой — руками: разрыхляла затвердевшие комки, просеивала сквозь пальцы, размягчала, освобождала от сорняков и очищала от камней. Лелеяла землю-кормилицу... А сегодня её ненавидела, потому что земля покорно спрятала следы страшных страданий и убийства — и не протестовала, не буянила, не сопротивлялась, не бунтовала — так, как умеет бунтовать земля в час ненастья.

Гафия сначала сбросила кептар, потом освободилась от кораллов с Марией-Терезией, завязала над коленями шёлковую юбку, закатала рукава — и вот уже ранние, расцветающие бархатцы с её огорода укладывались на свежих грядках «косичкой» и «змейкой» и извилисто сбегали к астрам, выстроившимся в ровненькие рядочки, догоняя сальвии с

вытянутыми красными головками, образующие небольшой крест посреди центральной грядки.

Кровавая земля тюремного двора под онемевшими руками Гафии сделалась цветником — и она не знала, презирать ли себя за это или выйти отсюда (если ещё позволят!) с чистой совестью.

— Ну, что, справилась, цветочница?

Военный, что был выше, неожиданно вырос перед Гафией, когда она складывала свои вещи в корзину.

— Если бы вы принесли воды, пан, они бы быстрее принялись, — смотрела в глаза, а показывала на цветы.

— *Можно и воды.*

И исчез за дверью.

Два молоденьких солдата носили ведрами воду — а она поливала. Да что там поливала — разводила жидкой водой густую человеческую кровь. И ждала грома с небес.

В небе солнце катилось к закату.

В небе ленивые облака разминались друг с другом.

В небе прямо над её головой висел ястреб.

Но в небе не было ни грома, ни Бога.

Ибо разве мог бы Бог на такое смотреть при солнечном свете, а не через пряди дождя, как сквозь слёзы?!

Когда к ней вышел энкаведист из Черемошного, Гафия быстро, чтобы не передумать, спросила:

— Скажите мне, если можете, — что здесь за бойня такая была, ведь я же не смогу ни спать, ни есть от вида этой крови?

Разморённый июньским солнцем энкаведист, с расстегнутой верхней пуговицей гимнастерки, с мокрыми подмышками, сжав губы, мерил Гафию колючими глазами. У него нервно задёргалась правая щека.

— Надеюсь, — снова заговорил по-человечески, на её родном языке, — ты, Гафия, будешь молчать, как немая, о том, что видела в Выжнице в НКВД. Сюда посторонние не ходят. А ты, знаю, умеешь язык за зубами держать так же, как сапку в руках. Не хочу пугать, что будет, если тебе в голову придёт похвастаться увиденным. А что здесь было... Ну, ты же, наверное, слышала, что

в прошлую пятницу¹⁰ мы освобождали ваши села от вражеских элементов. От тех, кто упёрся и не хотел с нами дружить и нам помогать, кто был не рад, что мы сюда пришли, кто эксплуатировал здешних людей в своих кулацких хозяйствах, пока мы не освободили вас. Из Черемошного таких набралось больше двух десятков. Ты же слышала об этом? Сегодня уже среда, 18 июня, должна была слышать.

— Все слышали.

— Ну, вот. Привезли их сюда. Как людей. Всё тихо-мирно. А кое-кому не понравилось. Ну, и пришлось разъяснять политику партии.

— Их всех тут убили?!

— Ну, что ты, Гафи-и-и-я?! Зачем? А работать кто будет? Матушка Россия большая. Рабочие руки стране нужны. Так... кое-кому кровь из носа пустили, кое-кому массаж сделали, ну, то есть размяли кости немного, для профилактики. Потом погрузили в вагоны... *А теперь умойся и ступай домой. Подвода тебя ждёт. Ну, и забудь всё, о чём я рассказывал. Понимаешь, трудные времена. Сложные. Надо кому-то верить. А получается, некому. А за цветы спасибо. Красиво выложила. Только вот крест незачем было делать. Да, уж ладно... Как раз кстати получилось, на том месте несколько дедушек преждевременно попросились к Богу...*

...Гафия спиной подпирает стену своей хаты, держит во рту влажную, какую-то очень горькую махорку — и не чувствует ни её вкуса, ни запаха. Зелёного платка в жёлтые и бурячковые цветы на голову больше не повязывает. Кораллы с Марией-Терезией не подвешивает, и кептар с шёлковой юбкой не надевает на себя. После Выжницы закопала всю ту нарядную одежду на огороде под прошлогодним стогом сена. Может, земля когда-нибудь вытянет из вещей запах невинной человеческой крови, впитавшийся в каждую ниточку. Казалось Гафии, что с рубашки

¹⁰ 13-14 июня 1941 г. произошли массовые депортации из Буковины — прим. автора.

или с нижней юбки закапает кровь, если она наденет их на себя снова.

Всю дорогу из Выжницы до Черемошного её снова рвало. Аж кучер — Тодор Остафийчук — остановил лошадей у воды за Немчицем:

— Чур на тебя, баба! Если бы не знал, то подумал бы, что ты в тягости, — так-то рыгать? Побойся Бога, женщина! Не захворала ли?.. Пойди к Марфе, пусть воск тебе сольёт, может, плохое кто тебе сделал или сглазил...

Но тут же Тодор и замолчал: вспомнил, откуда едет и откуда везёт Гафию. На НКВД не одного сглазили, пусть бы им ни дна, ни покрывки — и вытянул коня кнутом.

Гафия греет на облезлой вепревой шкуре босые подошвы ног — а слёзы сами льются из глаз безостановочно. Она не в состоянии руки отмыть от крови. Рукавицы брала на работу — а у неё и из-под рукавиц кровь сочится. И некому о том рассказать. И говорить нечего, и голова пухнет, потому что только зафыркает кот на тропинке — так кажется, что приземистый энкаведист идёт по её душе, и снова нужно будет руками перебирать кровавую землю, а у неё на столько кровавой земли нет уже ни слёз, ни цветов...

— Гафия, бросай курить! Война ся зачала... — говорит расхристанная цыганка Аница, открывая калитку, а за ней одна из-под другой развеваются её юбки... — Была в Выжнице на базаре. Люди скупают табак и спички. Говорят, что снова будет большая бойня, раз москаль с немчуром силами меряться надумал.

2019 г.

«Трымаймося!»

От переводчика:

«Трыма́ймося!». Можно ли абсолютно точно перевести это слово, так часто звучащее сегодня в украинской речи? Его говорят друг другу и самим себе, пишут в письмах и телефонных сообщениях родным и близким, произносят при встречах и расставаниях. Что оно означает? «Держимся», «стоим», «не сдаёмся». А можно ещё так: «не падаем духом». А порой даже так: «люблю тебя». И всё в одном слове! Вот почему я решила оставить его без перевода и именно так назвала эту небольшую подборку дневниковых записей, размещённых украинскими авторами в социальных сетях в феврале-марте и октябре-ноябре 2022 года. Голоса людей, чья мирная жизнь взорвалась 24-го февраля, дополняют друг друга как документальное, но и живое свидетельство страшных месяцев войны.

Е.М.

24 февраля. Сергей Лапко, инженер, село Боровая, Киевская область:

Проснулся, потому что война. Слышно взрывы. Трымаймося!
Пусть бог бережёт наше войско.

25 февраля. Сергей Лапко:

Заставил себя поесть. Слишком много этих качелей — кофе, сигарета, кофе, сигарета — пропали, победа, пропали, победа... Заставил себя поесть и немного прояснилось в голове. Завтра с сельчанами строим редуты, короче, укрепления. Хорошо, что поел. Ещё бы поспать, потому что сон тоже не идёт — вчера не спал.

1 марта. Леся Синиченко, художница, г. Чернигов:

Вчера я впервые за пять последних дней спала не в джинсах и на свежем постельном белье, а сегодня снова в подвале. Ночью стояла какая-то зловещая тишина. Ожидание наихудшего. Уже второй раз просыпаюсь от панической атаки. Не хватает света и пространства. Подумала, что война мне приснилась. Стала медленно дышать. Обняла собаку Блонди. Она спала рядом на лавке. И сразу пододвинулась ещё ближе. Ей так тоже спокойнее. Держу её за лапу всю ночь и становится легче. В который раз порадовалась, что мы завели собаку. Вчера был очень трудный день. С утра постоянно хотелось плакать. Впервые за эти пять дней. Но истратила пол-пачки салфеток и опомнилась. Салфетки надо экономить. Впрочем, каждый день тревожный рюкзак, который я ношу в подвал, становится легче, потребности уменьшаются.

Сегодня пошёл снег. Первый день весны.

За несколько дней до войны мне приснился сон, что я хожу по городу и ищу, где можно помыться. И какая-то женщина в меховой шапке ведёт меня к троллейбусу и говорит, что мыться можно там. Троллейбус ездит по городу и голые люди стоят под душами и не стыдясь моются. Женщину в шапке выгоняют — говорят, у вас блохи, уходите отсюда.

3 марта. Леся Синиченко, г. Чернигов:

Каждый день начинается с дыма. Новости почти пропали. И теперь можно только догадываться, что горит на этот раз. Настроение меняется мгновенно.

Качели от слёз до ненависти. От растерянности до злости. Коктейль из страха и любви. Отчаяние, а моментами апатия. А

ещё ярость, ярость, ярость. Внутри тебя всё быстро переключается. Слезы пропадают так же быстро, как и появляются.

Наихудшее — это ожидание. Тишина пугает, но каждый шорох вызывает приступ паники. Внимательно прислушиваешься ко всяким звукам.

Ночью прячешь уши под одеяло. Старательно прикрываешь голову. И даже иногда спишь.

Иллюзия безопасности, которая не спасает.

Рядом творится что-то страшное. И стены этого подвала лишь бутафорские театральные декорации.

Они, как и твоё одеяло, не поглощают даже гул самолётов. Кажется, дома нет, ни один из трёх этажей не существует, и они летают прямо в небе над нами. Грохот. И стены вздрагивают. Деревянная лавка подо мной двигается. Стекло дрожит, но громче всего стучит моё сердце.

Отчаяние. Я чувствую отчаяние.

7 марта. Сергей Лапко, инженер, село Боровая, Киевская область:

Каждый на своём месте. Спокойно. Делаем то, что нужно, что умеем. Для победы. Бережём себя. Бережём своих.

7 марта. Ганна Улюра, литературная критикесса, г. Киев — г. Львов (по дороге в эвакуацию):

Не хочу такое забывать. Когда это было? Третьего дня, кажется. Преодолеваю последний участок дороги до Львова, уже всё спокойно, но напряжение высокое. За мной уцепилось

корпоративное авто, киевские номера, полная машина детей и женщин, за рулём паренёк. Едет неуверенно, уставший, наверное. Показываю: давай на хвост, проведу — дорога там плутаная и плохая. Выезжаем из сёл, останавливаемся. Спрашиваю, всё ли в порядке, не нужна ли помощь. Говорит: покажи мне, правильно ли я переключаю передачи, а то глохнет. Ему семнадцать, выглядит на все сорок. Корпоративное авто давали тем, кто хотел и рискнул выехать. Рискнул. Иди обниму, говорю. И покажу четвертую передачу.

7 марта. Ганна Улюра, Львов:

Здесь тихо. Здесь есть бензин, сигареты, свежая выпечка. Здесь так тихо. И люди изнервничавшиеся и испуганные намного больше, чем в Киеве. Переписываюсь с мамой, которая под обстрелами уже который день (а правда, — который день? как их замерять?). Она спокойно мне рассказывает, как планирует завтракать. И плачет только тогда, когда рассказываю я: меня приняли в свой дом незнакомые люди, подруга моего друга, её мама передала хлеб и вареники. И от этой доброты, от доброты, а не от ужаса, плачет моя мама. Под обстрелами. Здесь так тихо. Киевляне пишут: да у нас спокойно, сравни с Харьковом, Бучей, Николаевом сейчас. У нас, пишут, тихо же. Нашёлся человек, которого — после бомбёжек — искали сутки. Поцарапанный, но целый, живой. Тихо тут, говорю. Забрать тебя назад? — спрашивает и смеётся.

8 марта. Сергей Лапко, инженер, село Боровая, Киевская область:

Шёл сегодня с работы, Пушкинской улицей. Не было транспорта — шёл пешком. Измученный страшно, потому что вчера не спал.

Так и не спал, не мог спать. Днём ещё удавалось блокировать Ирпень и Бучу, а как закрою глаза — блок спадает.

Иду, день ещё, видно хорошо. Одна крылатая ракета пролетела, позднее ещё две в другом направлении. Люди ходят, разговаривают, а в 300-400 метрах над их головами полетела смерть и не остановить. Не поймать, не позвонить, не закричать — ничего.

8 марта . Олег Коцарев, поэт, г. Буча:

сбегаем с пятилетней дочкой

с пятого этажа,

и на мгновенье становится смешно:

наши ноги в воздухе болтаются,

по-настоящему касаемся

только друг друга,

космонавты,

коцмонавты.

2.

начинаешь прогуливать

тревоги воздушные

как старшекласник.

3.

кто движется

в доме тёмном

напротив твоего дома тёмного

дома

в котором

пошевелились

твои тёмные волосы?

5.

содержимое рюкзака:

убегая из-под обстрелов

зачем-то

взял с собой

книжку стихов

«содержимое кармана мужчины»

6.

беженец играет

нечисто —

у него в рукавах

восемь слов

из разных диалектов

14 марта . Ия Кива, поэтесса, г. Донецк — г. Киев — г. Львов:

Сирены мы слышим хорошо, но никуда не ходим. В коридоре у нас огромное зеркало в шкафу, двери — со стеклом. До ближайшего хорошего бомбоубежища — двенадцать минут.

Подвал в доме вроде бы есть. Но это же Львов, успокаиваем мы себя, тут как будто спокойно. Когда восемь лет ставишь перед собой вопрос «почему тебя не убило?», отношения со страхом портятся так, что мы годами друг с другом не здороваемся. Только глядя в окно ночью, видишь, сколько людей делают всё правильно: спускаются, выходят на улицу, бегут, прячутся.

Но что хорошо помнится с 2014-го года: в первые месяцы в Киеве множество людей спрашивали у меня: «кто вас так напугал?». Это что же тогда такое было написано на моём лице — даже не представляю.

20 марта. Сергей Лапко, инженер, село Боровая, Киевская область:

Вчера пересматривал видео, которые снимал по ночам во время обстрелов, во время боёв, воздушных тревог. Часть из них озвучена канонадой, часть подсвечена вспышками, часть — тёмные, ничего не происходит. Собственно последние-то и искал, чтоб удалить, потому что там просто тёмный экран, мои шаги и дыхание. Пришлось их все пересмотреть, прежде чем уничтожить. Одно из них оказалось уж слишком длинным, наверное, — подумал — забыл выключить запись. Где-то в середине длящейся абсолютной тишины я услышал свою спонтанную молитву. Оказалось, что молюсь, обращаюсь к высшим силам с просьбой защитить невинных гражданских людей наших, что попали в эту масакру, отвратить ракету, завернуть вражеский самолёт, отвратить опасность. Прошу сил и мужества для тех, кто с оружием в руках защищает страну и людей, прошу и их самих защитить тоже, прошу об удаче для них. Человек я далёкий от религиозности, поэтому молитва у меня путаная вышла, но от души. Был опыт когда-то, — строил монастырь, прошёл, что называется, школу молодого бойца.

Есть у меня надежда, что моя трансцендентная попытка повлиять на ход событий влилась в общий настрой дум и молитв многих людей, или даже — с пафосом, уместным тут — всего моего народа.

25 марта. Богдана Матияш, поэтесса, г. Львов:

Недавно я просила молиться за моих родных в Мариуполе, наконец вчера получила известие от двоюродного брата: живой! выехал. К сожалению, в так называемую «днр» — из района, где он жил, коридор был только туда, да и тот преодолевали бегом, под обстрелами... из других районов был коридор в Запорожье.

Часть других родных живы, выехали, про некоторых ничего неизвестно.

А вот тётя умерла своей смертью — видимо, не выдержало сердце всего этого... Не было возможности похоронить её... просто вынесли тело к детскому садiku, засыпали землёй и прикидали камнями.

Кто может, прошу молиться за новопреставленную рабу Божию Олександру, у которой не было ни похорон, ни гроба, ни даже могилы, место которой знали бы родные и могли прийти туда помолиться... Вторую мировую войну пережила ребёнком, а этой нечеловеческой войны уже не выдержала.

Вечная ей память.

31 марта. Богдана Матияш:

Здесь, где я сейчас нахожусь, уже несколько часов идёт дождь, и я представляю, что такой же дождь идёт у меня дома, на мои цветы... знаю, что там сейчас цветут крокусы и печёночницы, думаю, что уже распускаются и гиацинты.

Смотрю на цветы за окном, радуюсь, что я на украинской земле, но грущу, что не на той, самой родной.

С давних пор знаю, что когда надолго еду из дома куда-нибудь, всегда особенно скучаю именно по своей земле, не знаю, почему.

Думаю сейчас про лес вокруг моего дома — говорят, он весь заминированный. Представляю — а точнее, не хочу даже представлять, — сколько времени нельзя будет пойти туда на прогулку ни людям, ни собакам (собакам особенно, они же не спрашивают, куда можно бежать, и не привыкли ходить в лесу только по тропинкам, привыкли бегать, куда им хочется). Как долго нельзя будет пойти к озеру, послушать кваканье лягушек и посмотреть на уток.

Когда осенью сажала тюльпаны, думала: «даже если будет война, они всё равно зацветут». Так и случилось: война есть, а тюльпаны собираются расцвести... но я скучаю по ним — вот об этом не подумала.

11 октября. Леся Синиченко, художница, г. Киев:

Вчера утром я ехала на поезде из Чернигова, где застала меня война, в Киев, домой. Из окна мы видели дымы над городом, пожар на ТЭЦ, много скорых и пожарных машин.

Железнодорожный вокзал был непривычно пуст, а окна на первом этаже вынесло взрывной волной. Я на всё это смотрела как-то отстранённо, как зритель в театре.

А потом приехала домой и поняла, что меня немного накрывает, словно опять февраль, и я там, где была тогда.

Почему-то стало тяжело дышать. Я делала это через силу.

Словно забыла, как это — дышать.

А ещё я почти совсем не могла вытащить из себя слова. Они уже привычно исчезли.

Но когда оказалась дома, пришла собака, и я сидела и трогала её уши, а она тыкалась мне в ладони своим мокрым носом и хотела, чтоб её гладили, и мне сразу стало спокойнее. На самом деле собака тоже нервничала, потому что утром слышала, как рядом с нами очень громко сбили ракету, и наверное, оказалась в черниговском феврале. Потом отключили свет и всем пришлось лечь спать.

А сегодня был новый день. И дышать я снова могу.

Ярость требует спокойствия.

11 октября. Ия Кива, поэтесса, Львов:

Так удивительно было сегодня идти по Львову. Такому осеннему, такому тёплому, такому притихшему, который хотелось обнимать, словно беззащитное дитя. Со всеми его трамваями-желтками, застывшими на сковородке города там, где их застали ракетные удары и отключение электричества. С людьми, на лицах которых была даже не растерянность, а такое выражение, будто они увидели Бога. С очередями на заправках, с очередями за водой, с очередями зарядить телефон там, где это возможно. С закрытыми магазинами, с неработающими банкоматами. С беженцами, не знающими, как попасть из одной точки в другую, потому что не работает мобильный интернет. С рассказами по кругу, как прошёл этот день. С тихими улыбками, даже в темноте. Такое щемящее чувство, которое всегда бывает перед тем, как из носа пойдёт кровь. В такие мгновения всегда мысленно перечисляю всех, кого

люблю. Среди живых и мёртвых. Потому что только эта вервица любви нас и держит.

20 октября. Сергей Лапко, село Боровая, Киевская область:

Ходил, чтоб успеть до комендантского. Хлеб, сыр, для Берни что-нибудь, сигареты, ну там ещё... Темно, редкие прохожие с фонариками. Сумрачно, холодно, а совсем скоро слякоть, зима... Дрова — дрова ещё не купил, это следующий пункт, сначала вычеркну более актуальное. Нужно рассчитать количество тех дров, без понятия, первую зиму буду на печном. Газ на подстраховку.

31 октября. Богдана Матияш, поэтесса, г. Киев:

Хочу запомнить эти вечера, когда нет света, но есть свечка и заряд батареи в ноутбуке. Вот так украинцы работают в XXI веке.

Так мы редактируем книжки, пишем стихи, аналитику и другие разнообразные тексты. С прекрасным настроением, вопреки всему. И никому нас не сломить.

8 ноября. Леся Синиченко, художница, г. Вильнюс (в эвакуации):

Настроение

Артёму (погибшему другу)

Хочется лежать

Погасшим камешком

На дне глубочайшего океана

Над тобой корабли и чайки

Над тобой война.

А ты лежишь, свернувшись калачиком

И тихонько улыбаешься

Потому что уже всё прошло.

Об авторах

Оксана Забужко — писательница, поэтесса, публицистка, много выступающая сегодня на различных украинских и европейских площадках с лекциями об украинской идентичности, о роли Украины в современной европейской жизни.

Родилась 19 сентября 1960 года в Луцке (Украина). Окончила философский факультет Киевского университета имени Шевченко и аспирантуру.

Оксана лауреатка главной литературной премии Украины — Шевченковской национальной премии (2019), премии «Ангелус» (2013) и многих других украинских и международных наград. Её литературные произведения переведены на множество языков мира. Её первый роман «Полевые исследования украинского секса» считается одной из книг, положивших начало новой украинской прозе. И этот роман, и второй, роман-эпопея о современной Украине под названием «Музей заброшенных секретов», а также эссе и рассказы были переведены на русский язык составителем и переводчиком этого сборника и не раз издавались и переиздавались в России. В марте 2022 года Оксана Забужко выступила на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге с речью о начавшейся войне.

Марианна Кияновская — поэтесса, писательница, переводчица.

Родилась 17 ноября 1973 года в городе Нестеров (ныне Жовква) Львовской области. Окончила филологический факультет Львовского университета. Авторка многочисленных поэтических сборников, её стихи переведены на английский, немецкий, шведский и другие языки. Кияновская — лауреатка главной литературной премии Украины (Национальной премии имени

Шевченко, 2020) и престижной международной литературной премии имени Збигнева Герберта (2022, за сборник стихов «Бабий Яр. Голосами»), а также других литературных премий. Рассказ, представленный в этом сборнике, является первым переводом прозы Марианны Кияновской на русский язык.

Евгения Кононенко (Евгения Мягка) — писательница, переводчица, эссеистка.

Родилась в Киеве 17 февраля 1959 года. Изучала математику в Университете имени Т.Г. Шевченко. После окончания университета работала программисткой в ряде организаций. Писательская карьера началась после провозглашения независимости Украины.

Евгения Кононенко — авторка академических исследований украинской культуры (в том числе женского архетипа в культуре), нескольких романов и множества рассказов. Некоторые её тексты переведены на английский, французский, итальянский, чешский и другие языки, включены в антологии современной украинской литературы. Сборник короткой прозы «Без мужика» был опубликован в русском переводе составителем и переводчиком этого сборника в Москве. Евгения — лауреатка премии Григория Сковороды 2021 года, премии "Метафора" 2018 года, ряда других украинских и международных литературных премий за прозу и переводы с чешского и французского языков. В настоящее время Евгения Кононенко находится во Франции как украинская беженка.

Мария Матиос — писательница, поэтесса, общественная деятельница. Родилась 19 декабря 1959 года в селе Розтоки Черновицкой области. Окончила филологический факультет

Черновицкого государственного университета. Авторка масштабных исторических произведений, лауреатка главной литературной премии Украины — Шевченковской национальной премии (2005), обладательница многих других литературных наград, а также ордена княгини Ольги третьей степени. В одном из рейтингов её книга «Даруся Сладкая» была признана лучшей книгой первых пятнадцати лет независимой Украины, оказавшей наибольшее влияние на украинское общество.

Книги Матиос переведены на многие языки, а пьесы по ним идут в украинских и европейских театрах. Составителем данного сборника переведены и опубликованы на русском языке следующие книги Марии Матиос: «Даруся сладкая», «Нация», «Черевички Божьей Матери».

IASH Occasional Papers

1. *Europe Redefined*. Richard McAllister. 1991.
ISBN 0 9514854 1 5.
2. *Europe: Ways Forward*. Mark Russell and Richard McAllister. 1992.
ISBN 0 9514854 2 3.
3. *Constitutions and Indigenous Peoples*. Ninian Stephen and Paul Reeves. 1993.
ISBN 0 9514854 3 1.
4. *Indigenous Peoples & Ethnic Minorities*. Peter Jones. 1993.
ISBN 0 9514854 4 X.
5. *Educational Values*. Peter Jones. 1994.
ISBN 0 9514854 5 8.
6. *Family Values in the Mediterranean*. Peter Jones. 1994.
ISBN 0 9514854 6 6.
7. *Post-Communist Transition: Realities and Perspectives*. Ivan Antonovich. 1996.
ISBN 0 9514854 7 4.
8. *Value, Values and the British Army*. Patrick Mileham. 1996.
ISBN 0 9514854 8 2.
9. *Commonwealth Lectures*. Peter Jones (ed.). 1997.
ISBN 0 9514854 9 0.
10. *Darwin's Voyage: Circumnavigation, World History and the Sublime*. Ian Duncan. 2009.
ISBN 978 0 9532713 4 4.
11. *Darwin in Scotland*. David Fergusson. 2009.
ISBN 978 0 9532713 5 1.
12. *Charles Darwin: Some Scottish Connections*. Walter M. Stephen. 2009.
ISBN 978 0 9532713 6 8.
13. *Edinburgh, Enlightenment and Darwin's Expression of the Emotions*. Gregory Radick. 2009.
ISBN 978 0 9532713 7 5.
14. *Evolving Creation*. John Polkinghorne. 2009.
ISBN 978 0 9532713 8 2.
15. *Conversation: and the Reception of David Hume*. Peter Jones. 2011.
ISBN 978 0 9532713 9 9.
16. *Gathering Uncertainties: A Conversation Between Playwright Linda McLean and Susan Manning*. 2011.
ISBN 978 0 9568610 0 9.

17. *Hume and Searle: the 'Is/Ought' Gap versus Speech Act Theory*. Daniel Schulthess. 2011.
ISBN 978 0 9568610 1 6.
18. *Hume's Intellectual Development: an Overview*. James Harris. 2011.
ISBN 978 0 9568610 2 3.
19. *Reason, Induction and Causation in Hume's Philosophy*. Don Garrett and Peter Millican, 2011.
ISBN 978 0 9568610 3 0.
20. *The Enlightened Virago: Princess Dashkova through the Eyes of Others and Princess Dashkova, the Woman Who Shook the World*. Georgina Barker (ed.). 2019.
ISBN 0 9532713 0 6.
21. *Humanities of the Future: Perspectives from the Past and Present*. Ben Fletcher-Watson & Jana Phillips (eds.), 2020.
ISBN 0 9532713 1 3.
22. *The White Canvas: An Exhibition Catalogue*. Shatha Altowai, 2021.
ISBN 0 9532713 2 0.
23. *Emerging Canon, Contested Histories: Global Art Historians in Conversation*. Francesco Gusella and Meha Priyadarshini (eds.), 2021.
ISBN 0 9532713 3 7.
24. *R/D: Articulation and Representational Divergence*. Victor Peterson II, 2022.
ISBN 0 9568610 4 7.
25. *Our Time Is A Garden: New Nature Writing by Women and Nonbinary Writers of Colour*. Alycia Pirmohamed (ed.), 2022.
ISBN 0 9568610 5 4.
26. *Enduring Violence in America: two essays*. Theodore Louis Trost, 2023.
ISBN 0 9568610 6 1.

To order, please contact:

The Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh, Hope Park Square, Edinburgh, EH8 9NW, Scotland. Email: iash@ed.ac.uk Web: www.iash.ed.ac.uk